

СИГИЗМУНД  
КРЖИЖАНОВСКИЙ

*Штрихадунтан катогорни рассуока*



# Сигизмунд Доминикович Кржижановский

## Возвращение Мюнхгаузена

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=178379](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178379)  
Тринадцатая категория рассудка: Эксмо; М.; 2006  
ISBN 5-699-18798-7*

### Аннотация

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

# Содержание

Глава I	4
Глава II	18
Глава III	40
Глава IV	53
Глава V	57
1	59
2	66
3	69
4	72
5	76
6	81
7	83
8	91
9	94
10	98
11	102
12	111
13	116
Глава VI	125
Глава VII	141
Глава VIII	162

# Сигизмунд Кржижановский

## Возвращение Мюнхгаузена

### Глава 1

#### У всякого барона своя фантазия

Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбегавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

– Восстание в Кронштадте!

– Конец большевикам!

Прохожий, сугуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва – черт! – ни пфеннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

– Как доложить?

– Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользнув взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

– Как?

– Эрнст Ундинг.

– Минуту.

Шаги ушли – потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

– Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйста.

– А, Ундинг.

– Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

– Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом – подошвами в каменную решетку – пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом – в готические спинки кресел – длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми кочьями волос, с красной кнопкой носа и парой наежившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

– На столике сигары, – сказал наконец хозяин.

Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полосы манжета: стукнула крышка сигарного ящика – потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

– Мы, немцы, не научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и по-

стлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите?..

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись – и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел. из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье, камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз – бантом на крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

– Еще меньше мы смыслим в туманах, – продолжал курильщик меж затяжками, – начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, поднимающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и мирозерцания, заштриховать факты и... одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

– Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кое-чему научились, например, эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

– Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад – мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развеять ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочки, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше. «Доктор, – сказал я философу, – с тех пор, как не-я выпрыгнуло из я, ему следует почаще оглядываться на свое *откуда*». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

– Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», – а само отворачивается от всяческих н е. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, – поклонился он в сторону собеседника, – но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я – глоток за глотком, вы же сидели, не касаясь губами стекла, и только изредка – по вашему кивку – кельнер на место невыпитой кружки приносил другую, остававшуюся тоже невыпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, – отвечали вы, – и когда они все лопнут,

приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня – напоминаю вам это, Мюнхгаузен, – как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки...

– Вы злопамятны.

– Я памятьлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение Земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад, в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» – вы – с учтивым поклоном – назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их место, – вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, – между нами – как поэт, я готов верить, что вы – *вы*, но как здравомыслящий человек...

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопалую руку, с овалом лунного камня на безымянном, к аппарату:

– Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да, да. Буду, через час.

И трубка легла на железные вилки.



– Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не *перестанут*. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

– Вы шутите.

– Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

– Что ж, – усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, – если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное *как*. Конечно, я признаю некую диффузию меж быльёю и небыльёю, явью в «я» и явью в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то...

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

– Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете... только разрешите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этаким гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы – деления на деление – над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789–1830–1848–1871 – и еще, и еще, – у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789 крепче стискиваю колени, на 1871 приходится и руками и ногами за края стрелы, но с 1914 тряска цифр делается невыносимой: ударившись о 1917 и 1918, теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу – сначала неясные, потом вычегчивающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры: воздух и ничего, кроме воздуха. Вдруг – удар о ладони, сжимаю пальцы – в руках у меня шпиль – представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой – в двух-трех футах – флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачи-

вает из стороны в сторону – и я могу спокойно оглядеть рас-  
пластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках  
метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные  
марши, стриженные шеренги деревьев, прозрачные  
гиперболы фонтанных струй – все это как будто уж знакомо,  
не в первый раз. Скольжу по шпилью вниз и, усевшись на ды-  
мовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну  
конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти?  
Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказыва-  
ют мне простой и легкий способ. Напоминаю: если я теперь,  
так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот  
первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма:  
и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и плавно  
опускаясь, – я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры,  
внутри камина – такого же, как вот этот (лакированный ту-  
фель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни  
за которой уже успели отглеть). Я огляделся: никого. Вышаг-  
нул наружу. Камин находился, если судить по заставленным  
книгами и папками длинным сплошным полкам, в библио-  
теке дворца. Я прислушался: за стеной шум сдвигаемых кре-  
сел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком ма-  
ятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркаю-  
щий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, чело-  
веку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще  
не было известно, что это одно из заседаний Версальской  
конференции. На библиотечном столе картотека, последние

номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузился в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной – шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я... нет, видно, еще раз придется навестить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщащийся карман старинного камзола.

– Ну вот, – повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке алело сафьяном небольшое в золотом обресе с кожаными наугольниками ин-октаво. – Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783 года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрочки Ундинга, вспрыгнув на титулблатт, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла:

– Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, – продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, – я поспешил спрятаться: открыв свою книгу – вот так, – я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался,

сколько мог, и впрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплюсшившись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами, находился я.

– Должен вас перебить, – привскочил с кресла Ундинг, – как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а...

– А во-вторых, – ударил ладонью по сафьяну барон, – я не терплю, когда меня перебивают... И, в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не знаете, что книги, если только они книги, иногда *соизмеримы*, но никогда не *соразмерны* действительности!

– Допустим, – пробормотал Ундинг.

И рассказ продолжался:

– Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня врасплох (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть. Туз выронил сигару изо рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вы-

шагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к колени. «Историки запишут, – сказал я, ободряюще кивнув, – что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?» Я опустил руку в карман и молча протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка – готическим шрифтом по плотному картону:

*барон*

*ИЕРОНИМУС фон МЮНХГАУЗЕН*

*Поставка фантазмов и сенсаций.*

*Мировым масштабом не стесняюсь.*

*Фирма существует с 1720.*

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился:

– Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысль – из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем...» – и я раскрыл свое ин-октаво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое

старое обжитое место, вот тут – между шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой – не угодно ли взглянуть, – опустело: думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек длинная рамка: но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа – иллюстрация исчезла.

– Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем... впрочем, минутная стрелка разлучает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В дверях просунулись баки лакея.

– Подайте одеться.

Баки – в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

– Да, – протянул Мюнхгаузен, – они сняли у меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому шкафу), эту вот тлеть, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

– Вы перефантазировали самого себя. Отдаю должное – как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплиссировалось в множество смеющихся скла-

дочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

– Да-да. Еще в те времена, когда я жывал в России, они сложили про меня поговорку: у всякого барона своя фантазия. «Всякого» это позднее присказалось, – имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае, лыщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов *использовал право на фантазию*. Благодарю вас, и тоже, как поэт поэта.

Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундинга:

– И как хотите, друг: можете верить или не верить Мюнхгаузену и... в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще – крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все: ведь если просверлить бочку – вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули: протоколы Лиги Наций – подлинные документы о Брестском мире – стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурясь, барон Мюнхгаузен поднял портфель



за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо ожидавшемуся – на ручке кресла – томику в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

# Глава II

## Дым делает шум

Сначала под ногами у Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мгlistые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прямой бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шиной стеклистой слизи асфальта тянулись – нитью фиолетовых бус – отражения фонарных огней: с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались, обмокшие в дожде, флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз чугунные скамьи Унтер-ден-Линден – и навстречу, – утаптывающая бронзовыми копытами воздух, – черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискусной подделкой под воздух; вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот легкими пенными пузы-

рями вверх, а на крыши и панель беззвучным обвалом рухнет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках, потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города – там, за Тиргартеном, похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнившей недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилась, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка.

– Фантасмагория, – пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей.

Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы выпяченные голодом и румянами скулы: проститутка. Ундинг отвел глаза и пошел дальше. Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантасмагория. Но ни хен, ни лейн не прирастали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ассонансы и ритмы, внешний мир для него стал короче полей его фетра, – и немая клавиатура слов зашевелила своими клавишами.

Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу: роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощутилось: к коленям тяже-

лыми гирями – усталость. Ундинг с досадой прикинул в уме: два раза по двести – итого четыреста шагов чистой убыли; вот и весь гонорар.

Эрнст Ундинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузеном он натолкнулся на заметку в три строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбывшем с экспрессом – по делам, не подлежащим оглашению, – в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представительстве фон М. в влиятельнейших сферах Англии. Остальные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации прошли мимо него: Ундинг простудился и слег, выключившись на пять или шесть недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы, – из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикошетируя о стены, вперебой голоса газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ундинг услышал – сначала конец выкрика, потом начало, потом все:

– Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Марксе!!!

– Мюнхгаузен о...

Полохнуло ветром. Выздоровливающий сомкнул окно и, трудно дыша, опустился на стул. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали:

– Начинается.

Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самое темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам.

«Лошади и избиратели, – говаривал барон в узком дружеском кругу, – если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву, и я всегда был поклонником теннисровой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным: через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман: что там – луна или фонарь?»

Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсвотер-род, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Черинг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа – за длинным извивом ограды, молчаливые аллеи Кенсингтонского парка: зимой – на его деревьях ключьями ваты снег, летом – под его деревьями закапанный чернильными пятнами теней шафранный песок дорожек.

Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавший-

ся орнаментами своих ковровых цветов и стриженной травы к красным кирпичам дома, и собственноручно насадил семена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы после первых двух-трех поливок со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета в третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали поводили тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал:

– Опять?

И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесами назад к земле. С этого дня дом на Бейсвотер-род прозвали «коттеджем сумасшедших бобов».

Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждали слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более двух часов в сутки, – при этом они работают далеко не каждый день». Обычно, встав с постели, барон просматривал газеты, выпивал чашку кофе мэрвайс и, выкурив трубку, менял ночные туфли на остро-

носые штиблеты. После этого начиналась прогулка. Первую ее часть барон совершал пешком: он пересекал зеленолиственный Кенсингтон от северных ворот к западным. Ему нравилось видеть прыгающие по дорожкам пестрые лучи, песочные города, крохотных головастиков, которым старые – недопревратившиеся в миссис – мисс читают сказки из большбуквых с раскрашенными картинками книг. Слева выгибалась серые чешуи Змеиная река. Справа – навстречу шагам – сквозь паутину ветвей – памятник несуществовавшему Питеру Пэну, у западных ворот дожидается лимузин. Шофер Джонни откидывает дверцу, и барон под защелк – неизменное:

– К самому несуществующему.

Джонни – «слушаю». И лимузин, обогнув ограды Кенсингтона и Гайд-парка, поворотом руля вправо добавляет еще четыре колеса к тысячам колес, скользящим вдоль одетой в стекло и камень Пикадилли. А там, по strandу – и справа затканые в туман над ребрами кровель – башни Тампля и круглый купол св. Павла. У ступеней собора Джонни снова откидывает дверцу: приехали.

Барон раздает пенни нищим и входит в храм. Чаще всего он посещает знаменитую Галерею Шепота, умеющую пронести сквозь сотни футов малейший шорох еле слышного слова; но иногда он направляется к величественным мраморам гробницы Веллингтона. Тут всегда кучка туристов, шмыгающих глазами по акантным завиткам капителей, кистям бал-

дахина и буквам, врезанным в камень. Но Мюнхгаузена интересует другое. Подозвав служку, он протягивает палец к аллегорическим фигурам, затерявшимся среди деталей надгробия:

– Что это?

– Правдивое изображение Истины и Лжи, сэр.

– А которая из них Истина? – прищуривается барон.

– С вашего разрешения, вот эта.

– В прошлый раз, помнится, вы называли ее Ложью, – подмигивает барон, и правая бровь его выгибается кверху. Тут служка, привыкший уже к причудам посетителя, знает, что наступил момент, когда надо смотреть не на Истину и не на Ложь, а на серебряный шиллинг, блеснувший из щепоти богатого посетителя, потом благодарно откланяться и исчезнуть. Из собора Мюнхгаузен выходит с ясным, чуть не просветленным лицом и, ставя ногу на ступеньку авто, неизменно произносит:

– Когда к Богу ни приди, никогда его нет дома. Попробуем к другим.

Произносится адрес – и Джонни поворачивает руль или вправо – к Патерностер-стрит, или влево – к суете Флит-стрита, расшвыривающего буквы по всей земле; отсюда уже двадцативерстные радиусы Лондона – то тот, то этот – протягиваются под шуршащие шины лимузина.

Отдав два-три визита, барон кивает шоферу: домой. Назад едут чаще всего нищими кварталами Ист-Энда. Грязные



дома похожи на прессованный туман, но человек, откинувшийся к кожаным подушкам лимузина, думает, что только одно в мире не рассеять и не свеять ветрами: нищету.

В коттедже сумасшедших бобов уже дожидаются интервьюеры. Карандаши их приходят в движение. Мюнхгаузен терпеливо и любезно отвечает на все вопросы:

– Мое мнение о парламентаризме? Извольте: как раз вчера я закончил вычисление о количестве мускульных усилий, потребовавшихся для подъема и опускания языков у всех ораторов Англии: из расчета по три оппонента на одного докладчика, беря Нижнюю и Верхнюю Палату, перемножая число годовых заседаний на число лет, считая с 1265-го по 1920-й, просчитав фракции, комиссии и подкомиссии и переведя все в пудо-футы и лошадиные силы, получим – вы только представьте себе – силовой разряд, достаточный для возведения двух хеопсовых пирамид. Какое величественное достижение. Только подумать. И социалисты после этого утверждают, что мы не знаем физического труда.

– Моя тактика борьбы? В социальном плане? Чрезвычайно простая. До примитивизма. Даже африканские дикари умели ее сформулировать. Да-да: у них на озере Виктория есть водопад; когда подъезжаешь – уже за много километров слышен шум; приблизившись – видишь гигантское облако водяной пыли – от неба до земли. Дикари называли это – Мози-са-Тунья, что значит: *дым делает шум*. Вот.

– Вы там бывали, сэр? – интересуется репортер.

– Я бывал в небывалом: это значительно дальше. И вообще я полагаю – вы записываете? – реальны лишь две силы: шум и ум. И если б когда-нибудь они соединились... Впрочем, давайте на этом кончим.

Барон встает, интервьюеры прячут блокноты и откланиваются.

После этого слуга докладывает: обед подан. Мюнхгаузен спускается в столовую. Среди череды блюд всегда и его любимые жареные утки. Насытившись, барон переходит в кабинет и усаживается в мягкое кресло; пока слуга хлопочет у вытянутых ног барона, меняя штиблеты на пуховые туфли, барон, благодушно щуря глаза, с сытой созерцательностью наблюдает, как лондонский дождь там, за стеклом, заштриховывает зеленый пейзаж парка. Наступает час, который в коттедже сумасшедших бобов принято называть: час послеобеденного афоризма. На пороге, бесшумно ступая, появляется чинная мисс и, выдвинув из угла столик с пишущей машинкой, кладет пальцы на клавиатуру. Мюнхгаузен не сразу приступает к диктанту: сначала он долго сосет свою трубку, передвигая ее из одного угла рта в другой, как бы выбирая, каким углом курить, каким говорить. Курит барон удивительно: сначала сизо-белые вращающиеся сфероиды, потом вокруг них прозрачными сатурновыми кольцами – одно кружит вправо, другое влево – медлительные дымные извилия:

– Пишите. Старому лимбургскому сыру никого не жалко,

но он все-таки плачет.

– Раньше, чем устрица успеет составить мнение о запахе лимона, ее уже съели.

Уши мисс спрятаны под тугие рыжие пряди, и сидит она, отвернувшись от афоризмов, с глазами в косые линейки дождя, но пальцы стучат по клавишам, дождь стучит по стеклу, – и диктант длится, пока барон, вытряхнув пепел из трубки, не произнесет:

– Благодарю. Завтра – как обычно.

Он пробует приподняться, но дремота отяжелила ему тело, затуманила мысли, – и явь, вместе с рыжеволосой мисс, неслышно ступая, выходит за порог.

А под смеженными веками чередой видений: снящийся автомобиль везет Мюнхгаузена по снящимся улицам; они странно безлюдны и немые, и, ни разу не нажав сигнального рожка, Джонни останавливает шуршание шин у колоннады св. Павла. Мюнхгаузен уже опустил ногу к ступеньке, как вдруг собор приходит в движение: голова его под гигантско-круглой шапкой наклоняется, бодая крестом воздух, двускатная спина выгнулась, и чудовище, шевеля всеми своими колокольными языками, кричит: «Сэр, как пройти в Савлы, прямо и не сворачивая?» Расторопный Джонни включил мотор и крутым поворотом руля – назад; но чудовище, шагая двенадцатью гигантскими колоннами и с грохотом волоча свое длинное каменное тулово, – вслед. Коробка скоростей, проскрежетав, швыряет стрелку на макси-

мум. Но чудище, проворно перебирая колончатými лапами, все ближе и ближе. Машина – на полном ходу – сворачивает в одну из узких улиц Ист-Энда. Собор пробует протискаться вслед, проталкиваясь прямоуголием каменного плеча в уличную щель. И тут Мюнхгаузен, вскочив на сиденье, кричит в сотни квадратных глаз, протянувшихся справа и слева: «Эй, вы, чего устались, не пускайте его!» И дома по первому же оклику, послушно придвигая окна к окнам, загораживают собору путь; со вздохом облегчения барон опускается на подушки, но в это время он видит повернувшееся к нему смертельно бледное лицо Джонни: «Что вы наделали, – мы гибнем». И действительно, только теперь барон видит, что ведь дома нищего Ист-Энда, лишённые промежутков, впаяны друг в друга, кирпичи в кирпичи, образуя одну лишь цифрами номеров членимую массу: и как только те позади придвинулись друг к другу, передние кирпичные короба принуждены делать то же – и улица медленно сдвигает стены, грозя расплющить и мчащийся автомобиль, и тех, кто в нём; оси машины – нет-нет – чиркают о стены, скорей, – впереди просвет площади; но поздно – гигантская плющильня зажала бессильно жужжащее авто в затиск многоэтажных коробов, ее стальные крылья и кузов хрустят, как элитры насекомого, попавшего меж земли и подошвы. Ударом ноги Мюнхгаузен вышибает надвигающуюся справа на него оконную раму и впрыгивает внутрь дома. Но бедному Джонни не повезло – он в пролете меж двух окон – улица уперлась кирпичами в

кирпичи, – короткий крик, затерявшийся в удары громад о громады, – все стихло. И вдруг позади: «Стекольщику будете платить вы, мистер». Мюнхгаузен оборачивается – он внутри бедной, но опрятно убранной комнаты; посередине – кухонный стол, за столом над дымящимися мисками пожилой человек без пиджака, костлявая женщина с большим румянцем на скулах и двое мальчуганов; свесив ноги со скамьи, с ложками, увязшими во рту, дети восхищенно разглядывают пришельца. «И должен вас предупредить – стекло подорожало, – продолжает мужчина, размешивая содержимое миски. – Том, пододвинь стул мистеру, пусть присядет».

Но Мюнхгаузен и не думает присаживаться: «Как вы можете сидеть тут, когда Савл в Павлах, улицы нет и вообще ничего нет». Мужчина, к удивлению барона, не удивлен: «Если к ничего прибавить ничего, все равно выйдет ничего. И тому, кому некуда идти, мистер, – зачем ему улица. Кушайте, дети, стынет».

Барон, будто новая стена надвинулась на него, пятится к двери, опрокинув любезно подставленный стул, и по ступенькам: квадрат двора меж четырех стен. «А вдруг и эти тоже?» Скорее под низкие ворота: опять квадрат меж четырех нависших стен; ворота ниже и уже – и снова квадрат меж еще ближе сдвинувшихся стен. «Проклятая шахматница», – шепчет испуганный Мюнхгаузен и тотчас же видит: посреди квадрата – на огромной круглой ноге, вздыбив черную лакированную гриву, шахматный конь. Ни мига не медля, Мюнх-

гаузен впрыгивает коню на его крутую шею; конь прянул деревянными ушами, и, ловя коленями скользкий лак, Мюнхгаузен чувствует: шахматная одноножка, пригнувшись, прыгает вперед, еще вперед и вбок, опять вперед, вперед и вбок; земля то проваливается вниз, то, размахнувшись шпильями и кровлями, ударяет о круглую пятку коня; но пятка – Мюнхгаузен это хорошо помнит – подклеена мягким сукном, бешеная скачка продолжается: мелькают – сначала площади, потом квадраты полей и клетки городов – еще и еще – вперед, вперед, вбок и вперед; круглая пятка бьет то о траву, то о камень, то о черную землю. Затем ветер, свистящий в ушах, затихает, прыжки коня короче и медленнее – под ними ровное снежное поле; от его сугробов веет холодом; конь, оскалив черную пасть, делает еще прыжок и прыжок и останавливается среди ледящей равнины – подклеенная сукном нога примерзла к снегу. Как быть? Мюнхгаузен пробует понукать: «К g-8 – f-6; f-6 – d5, черт, d5 – b6», – кричит он, припоминая зигзаг «защиты Алехина». Тщетно! Конь отходит свое: деревянная кляча отходит. Мюнхгаузен плачет от гнева и досады, но слезы примерзли к ресницам, от холода нельзя устоять и секунды – и, растирая ладонями уши, он шагает – вперед, вперед и вбок, и снова вперед, еще вперед и вбок, разыскивая хоть единое пятнышко на белоснежной скатерти, аккуратно, без морщинки, застилающей огромный круглый, лишь горизонтом отороченный, стол. И вдруг он видит: там, впереди, скользя легкой тенью, какая-то длинная

из острых готических букв – колючая и верткая многоножка. Мюнхгаузен ловит глазами черную вереницу букв и прочитывает их: это его имя. Изумление обездвижило Мюнхгаузена. Тем временем осьмнадцатибуквое БАРОН фон МЮНХГАУЗЕН не теряет времени: выгибая слоги, оно скользким ползом внезапно к выставившемуся из земли пограничному столбу: на столбе доска, на доске знаки. Мюнхгаузен, с трудом отрывая примерзающие подошвы, вслед улепетывающему имени. Но имя уже доползло до столба и шлагбаума, занесшего красные и белые полосы над белой равниной, и оборачивается, чтобы взглянуть на преследователя – далеко ль? В это время – Мюнхгаузен ясно видит – шлагбаум быстро опускается: бело-красные полосы ударили по восьмой букве, и имя, как змея, рассеченная ножом, мучительно выгибает разлученные слоги: МЮНХГАУЗЕН – по ту сторону столба, БАРОНФОН – по эту. Став на чернилоточащем Н, бедное БАРОНФОН мечется из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Глаза Мюнхгаузена от букв на снегу к знакам пограничного столба: СССР. С минуту он стоит, раскрыв рот, потом мысль: бросить имя и бежать. Но подошвы башмаков успели вмерзнуть в снег. Он тянет было правую ногу, потом дергает левую – вдруг пограничное четырехбуквие шевельнулось, в ужасе Мюнхгаузен выпрыгнул из своих башмаков и в одних носках по ледяному насту; холод хватается за пятки, в отчаянии он мечется из стороны в сторону и... просыпается.

Правая туфля сползла с ноги и под пяткой прохладный вощенный квадрат паркета. О стекла кабинета шуршит дождь, но тонкие штрихи его струй застлало ночью. Кукушка на камине кричит семь раз. Барон фон Мюнхгаузен протягивает руку к колокольчику.

Коттедж сумасшедших бобов зажигает огни и готовится к встрече вечерних гостей. Снизу о дубовую дверь стучит и снова стучит молоток: сначала появляется король биржи, через минуту – дипломатический туз. Затем – старая леди, посвятившая себя спиритизму; когда, наконец, над порогом возникают уныло свисшие усы лидера рабочей партии, Мюнхгаузен, радушно подымаясь навстречу, восклицает с видом удачливого игрока:

– Коронка до валета. Прошу к нам в игру. Вас только и недоставало.

Но сверх тех, которых недоставало, приезжает и бывший министр без портфеля, которого уютный коттедж встречает, впрочем, столь же радушно и тепло.

Обмениваются новостями, не забывая ни альковов, ни парламента, гадают о предстоящих назначениях, о событиях в Китае; с министром без портфеля барон беседует об одном портфеле без министра, а дама-спиритка рассказывает:

– Вчера у Питшлей мы вызывали дух Ли-Хунг-Чана: «Дух, если ты здесь, стукни раз, если нет – стукни два раза». И представьте, Чанг стукнул два раза.

В это время внизу у двери двойной удар молотка.



– Неужели Ли? – вскакивает хозяин, готовый радушно встретить призрака.

Но на пороге слуга.

– Его святейшество епископ Нортумберлендский.

И через минуту рука в перстнях благословляет присутствующих.

Беседа продолжается. Слуга приносит тартинки, чай в фарфоре и тонконогие рюмочки с кюмелем. Некоторое время слова кружат от ртов к ртам, затем святейшество, отодвинув чайную чашечку, просит хозяина что-нибудь рассказать. С разрешения дамы барон Мюнхгаузен берет в руки трубку и, похрипывая изредка чубуком, приступает к рассказу. И тотчас же внимательно наставленные уши слушателей начинают вянуть: сначала у краев, потом по раковинному хрящу – внутрь и внутрь и, свертываясь, как листья по осени, ухо за ухом, бесшестно и тихо, одно за другим – на пол. Но дисциплинированный слуга с метелкой и скребком, появившись за спинами гостей, неслышно сметает уши в скребок и уносит за дверь.

– Случай этот имел место во время моего последнего пребывания в Риме, – шевелит клубы дыма голос рассказчика, – было свежее, осеннее утро, когда я, спустившись со ступенек кафедры св. Петра, перешел площадь, охваченную колоннадой Бернини, и повернул влево в узкую Борго сан-Андже-ло. Если вам приходилось там бывать, вы, вероятно, помните

пыльные окна с «antichita»<sup>1</sup> и лавчонки особого рода комиссионеров, которые, получив у вас вещь и несколько сольди, обязуются через неделю возвратить ее вам без сольди, но с папским благословением. Поскольку благословение присутствует в вещи невидимо, заказы выполняются бойко и всегда в срок. Тут же можно приобрести за недорогую цену амулет, зуб змеи, исцеляющий от лихорадки, коралловые джета-татуры от сглазу и полный набор прахов – от св. Франциска до св. Януария включительно, – аккуратно рассыпанный по аптечным мешочкам. Я завернул в одну из таких лавок и спросил прах св. Никто. Хозяин лавки пробежал пальцами по бумажным мешочкам: «Может быть, синьор удовлетворится св. Урсулой?» Я отрицательно покачал головой: «Я мог бы услужить синьору св. Пачеко: чрезвычайно редкий прах». Я повторил свое: «Der heilige Niemand».<sup>2</sup> Хозяин был, очевидно, честным человеком – он развел руками и с грустью признался, что требуемого в его лавке нет. Я повернулся было к двери, как вдруг внимание мое привлек один из предметов, стоящий в углу на полке: это была крохотная черная коробочка, из-под полуоткинутой крышечки которой торчали желтые космы включенной пакли. «Что это?» – обернулся я к прилавку, и услужливые пальцы прахопродавца тотчас же пододвинули товар. Оказалось, это был кусок недогоревшей пакли, участвовавший в ритуале апостолизирования

---

<sup>1</sup> Древностями (*итал.*).

<sup>2</sup> Святой Никто (*нем.*).

ния Пия X. Как это всем известно, при посвящении папы над тонзурой избранника сжигают кусок пакли, произнося сакраментальное «sic transit gloria mundi».<sup>3</sup> И вот, как клялся мне хозяин лавки, которому я не имел основания не верить, – во время совершения этой церемонии над Пием, как раз в момент произнесения сакраментальных слов, внезапным ветром унесло кусок пакли, который ему, собирателю раритетов, и удалось приобрести за некую сумму: «Синьор может сам убедиться, – раскрыл прахопродавец коробочку, – что пакля обожжена у краев и пахнет гарью». Это было действительно так. Я спросил о цене. Он назвал круглую цифру. Я ее пополам. Он сбавил – я прибавил: в результате коробочка с папской паклей очутилась в моем кармане. Я же – двумя часами спустя – в поезде Рим – Генуя. Мне, видите ли, не хотелось пропустить очередного конгресса христианских социалистов, заседания которого были назначены как раз в это время в генуэзском Palazzo Rosso: для любителя неосуществимостей, к каким я позволю себя причислить, посещение подобного рода собраний бывает иной раз поучительным. Окна в вагоне были открыты; сырой воздух марены, затем ближе к Генуе, ряд туннелей, смена духоты сквозняком, – меня продуло, и уже в середине первого же заседания христиан-социалистов я почувствовал недомогание. Нужно было принять лечебные меры. Сунув руку в карман, я наткнулся на коробочку и вспомнил, что вата, а за неимением

---

<sup>3</sup> Так проходит мирская слава (*лат.*).

ее и пакля, вложенная в уши, радикальное средство от простуды. Я открыл черную крышечку и сунул в левое и правое ухо по клочку папской ваты. И тотчас же... О, если бы вы знали, что произошло! Ораторы говорили, как и до пакли, рты шевелились, артикулируя речи, но ни единого звука, кроме тиканья моих часов, не доходило до моих барабанных перепонок. Я ничего не понимал: если оглох, то каким образом, не слыша слов, слышу тиканье маятника; если пакля, закупорившая мне уши, глушит звуки, ослабляет слышание, то каким образом громкие голоса тише еле слышимого хода часов. Расстроенный, я покинул собрание, прошел мимо беззвучно говорящих ртов и был радостно удивлен, когда, очутившись на улице, еще не успев сойти со ступенек подъезда, вдруг я сквозь паклю услышал: «mançia».<sup>4</sup> Слово было сказано старухой-нищенкой. Ясно, пакля прекратила свое тормозящее действие. Навстречу мне из грязных лохмотьев старушечья ладонь, но я, торопясь проверить свой вывод, бросился назад в зал заседаний. Я спешил, но вывод был еще поспешнее: опять перед глазами шевелящиеся рты, но изо ртов ничего, кроме артикулированной тишины. Что за дьявол – простите, ваше святейшество, беру дьявола обратно – что бы это могло значить? Строю гипотезы вслед за гипотезами и вдруг вспоминаю, что пакля, торчащая из моих ушей, особенная, сакраментальная, отгоняющая вместе с дымом и всю gloria mundi; и что сквозь нее не пройти ниче-

---

<sup>4</sup> Подаяния (*итал.*).

му преходящему, пекущемуся о славе мирской. Несомненно, это было так. Я не переплатил за мою покупку прахоторговцу с Борго сан-Анджело: но только почему же речи адептов христианского социализма вязнут в моей вате и не пролезают в слух?

Погруженный в тягостное размышление, я возвратился в номер гостиницы. К следующему заседанию я решил усовершенствовать мой фильтр, отцеживающий христиан от прихристей и не пропускающий сквозь свои поры никакой тщеты. Я рассуждал так: если ни одно греховное слово не в силах протиснуться сквозь освященную паклю, застревая в тесном сплетении ее нитей, то что должно произойти, если сухим и жестким фибрам пакли придать некоторую *скользясть*? Должно будет произойти, и это вполне естественно, следующее: слова будут по-прежнему по своей медлительности и грубости (все-таки из воздуха) застревать и в скользкой пакле, но мыслям, скрытым в них, вследствие их эфирности и утонченности, наверное, удастся-таки проскользнуть меж скользких волокон и впрыгнуть в слух. Вынув из ушей паклю, я внимательно осмотрел оба комка: наружная поверхность их была под грязноватым налетом. Очевидно, след от докладов. Счистив эту, так сказать, стенограмму, я, прежде чем вложить паклю назад в левое и правое ухо, спустил ее в ложечку с жиром, обыкновенным, растопленным на свечке гусиным жиром. Часы напоминали мне, что через какие-то минуты заседание конгресса возобновится. Проходя по ку-

дуарам, я слышал смутные голоса из зала: значит, уже началось. Приоткрыв дверь, я просунул запаклеванные уши в зал: конгресс был в сборе – на кафедре стоял благообразного вида человек в корректном, застегнутом на все пуговицы сюртуке и, елейно улыбаясь, площадно ругался. В недоумении я оглядел ряды тех, к кому адресовалась ругань: зал благоговейно слушал, и сотни голосов одобрительно качались в такт оскорблениям, сыпавшимся на эти же самые головы. Лишь изредка речь прерывалась аплодисментами и оратору кричали: «кретин», «льстюга», «флюгер», «подлец», – в ответ оратор прикладывал руку к груди и благодарно кланялся. Не в силах долее терпеть, я заткнул уши... то есть как раз наоборот, ототкнул их: оратор говорил о заслугах съезда в деле борьбы с классово-идеологической борьбой: отовсюду слышалось – «браво», «вашими устами истина», «как метко и тонко». Только теперь я стал понимать, что несколько грамм пакли, спрессованной внутри моей коробочки, стоят доброго философского метода. И я решил проглотить сквозь мою деглорифицирующую паклю весь мир. Набросав план опытов, я в ту же ночь отбыл с экспрессом, направляясь в...

И рассказ продолжается. Кукушка кричит одиннадцать и двенадцать и только поздно за полночь трубка Мюнхгаузена вытряхивает пепел, а хозяин, досказав, провожает гостей до холла. Рабочий день кончился. И вокруг коттеджа сумасшедших бобов, с каждым вечером ширя и ширя разлет своих линий, завиваются новые и новые спирали: тонкие усики их

уже за Ла-Маншем, грозя додлинниться до самых дальних меридианов земли. Афоризмы барона, он это знает, на люпитрах обеих палат, рядом со стенограммой и повесткой дня, рассказы и старинные историйки, начатые у сизого тягучего дымка трубки, дымными туманами оползают коттеджи сумасшедших бобов, пробираясь под все потолки, от языка к языку, и в неслышавшие уши. И, шаркая туфлями к теплой постели, барон смутно улыбается и бормочет:

– Мюнхгаузен спит, но дело его не смыкает глаз.

# Глава III

## Ровесник Канта

Хотя барон фон Мюнхгаузен предпочитал туфли штиблетам и досуг работе, но вскоре пришлось проститься с послеобеденной дремой и домоседством. Дым от старой трубки легко было рассеять ладонью, но «сделанный» дымом шум нарастал со стихийностью океанского прибоя. Телефонное ухо, раньше спокойно свисавшее со стальных вилок в кабинете барона, теперь неустанно ерзало на своих подставках. Дверной молоток без устали стучался в дубовую створу двери, телеграммы и письма лезли отовсюду, пяля свои круглые штемпеля на Мюнхгаузена: среди них рассеянно скользящие глаза барона наткнулись как-то на элегантно оттиснутое – старинным шрифтом по картону – извещение: группа читателей просит высокоуважаемого барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена посетить собрание, посвященное двухсотлетию деятельности высокопочитаемого барона. Юбилейный комитет. Сплендид-отель. Дата и час.

Парадные покои Сплендид-отеля иззолотились множеством электрических огней. Зеркальная дверь подъезда, бесшумно вращаясь, впускала новых и новых гостей. В центральном круглом зале задрапированный герб Мюнхгаузенов: по диагонали щита пять геральдических уток – клюв,



хвост, клюв, хвост, клюв – летели, нанизанные на нить; из-под последнего хвоста латинскими литерами: mendace veritas.<sup>5</sup>

Вдоль длинных, древнеславянским мыслете расставленных столов – фраки и декольте. Члены дипломатического корпуса, видные публицисты, филантропы и биржевики. Уже много раз прозвенели бокалы и восторженные «гип» вслед за пробками взлетали к потолку, когда поднялся юбиляр. Ему принадлежала реплика:

– Леди и джентльмены, – начал Мюнхгаузен, оглядывая примолкшие столы, – в Евангелии сказано: «В начале было слово». Это значит: всякое дело нужно начинать словами. Я говорил это на последней международной мирной конференции, позволю себе повторить и перед настоящим собранием. Мы, Мюнхгаузены, всегда верно служили фикции: мой предок Гейно участвовал, вместе с Фридрихом II, в крестовом походе, а один из моих потомков был членом либеральной партии. Что можно против этого возразить? Одна и та же историческая дата привела нас в мир: меня и Канта. Как это, вероятно, известно достойному собранию, мы с Кантом почти ровесники, и было б несправедливо в этот торжественный для меня день не вспомнить и о нем. Конечно, мы кое в чем расходимся с создателем «Критики разума»: так, Кантово положение: «Познаю лишь то, что привнесено мною в мой опыт», – я, Мюнхгаузен, интерпретирую так: привно-

---

<sup>5</sup> Лживая правда (*итал.*).

шу, а другие пусть попробуют познать привнесенное мной, если у них хватит на это опыта. Но в основном наши мысли не раз встречались – так, наблюдая, как взвод версальцев, вскинув ружья, целился в обезоруженных коммунаров (это было у стен Пер-Лашеза), я не мог не вспомнить один из афоризмов кенигсбергского старца: «Человек для человека – цель и ничем, кроме цели, быть не должен». Мистер Шоу, – повернулся оратор к краю заставленного цветами и бокалами мыслете, – в одной из своих талантливых пьес утверждает, что мы недолговечны лишь потому, что не умеем *хотеть* своего бессмертия. Но я, да простит меня мистер Бернард, иду гораздо дальше в отыскании секрета бессмертия: не нужно самому хотеть продления своей жизни в бесконечность, достаточно, чтобы *другие* захотели мне, Мюнхгаузену, долгой жизни, и вот я (голос оратора дрогнул) силой ваших хотений вступаю на путь Мафусаила. Да-да, не возражайте, леди и джентльмены, в ваших руках, протянутых мне навстречу, не только бокалы: вы открыли мне текущий счет на бытие. Сегодня я списываю со счета двести. В дальнейшем – как угодно: подтвердите счет или закройте его. В сущности, стоит вам вытряхнуть меня из зрачков, я нищ, как само ничто.

Но последние слова были смыты волной аплодисментов, хрусталь зазвенел о хрусталь, десятки ладоней искали ладонь юбиляра, он еле успевал менять улыбки, кланяться и благодарить. Затем столы к стенам, скрипки и трещотки заиграли фокстрот, а юбиляр, сопровождаемый несколькими

дымящимися лысынами, проследовал мимо танцующих пар в курительную комнату. Тут кресла были сдвинуты в тесный круг и некое дипломатическое лицо, наклонившись к уху юбиляра, сделало конфиденциальное предложение. Момент, как это будет видно из дальнейшего, был знаменателен. В ответ на предложение брови Мюнхгаузена поползли вверх, а указательный палец с лунным камнем на третьей фаланге скользнул по краю уха, как бы пробуя потрогать слова на ощупь. Тогда лицо, придвинувшись еще ближе, назвало некоторую цифру. Мюнхгаузен колебался. Лицо привесило к цифре ноль. Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал:

– Я уже бывал в тех широтах лет полтора ста тому назад и не знаю, право... вы толкнули маятник – он качается меж да и нет. Конечно, я не такой человек, которого можно испугать и, так сказать, вышибить из седла, и даже опыт первого моего путешествия в страну варваров, чье имя только что здесь прозвучало, сэр, дает достаточный материал для суждения и о них, и обо мне. Кстати, если не считать кое-каких мелких публикаций, материал этот до сих пор остается неоглашенным. Знакомство мое с Россией произошло еще в царствование покойной приятельницы моей императрицы Екатерины II, впрочем, я отклоняюсь от вопроса, поставленного в упор.

Но дипломатическое лицо, верно учитывая возможности, сделало знак соседям, и те изъявили в лицах восторженное

внимание:

- Просим.
- Прелюбопытно бы узнать...
- Я весь внимание.
- Слушаем.

Кто-то из недослужившихся, взмахнув фрачным двуххвостием, побежал к дверям и замахал руками на танцующих: фокстрот отодвинулся в более отдаленную залу. Барон начал:

– Когда наш дилижанс подъезжал к границе этой удивительной страны, пейзаж резко изменился. По эту сторону пограничного столба цвели пышным цветом деревья, по ту его сторону – расстилались снежные поля. Пока перепрягали лошадей, мы переменили наши легкие дорожные плащи на меховые шубы. Шлагбаум поднялся и... но я не стану рассказывать о приключении с песенкой, замерзшей внутри рожка нашего возницы, о случае с лошадю, повисшей на колокольне, и множестве других, – всякий культурный человек знает их не хуже, чем свой бумажник или, скажем, отченаш, – остановим колеса дилижансу у въезда в столицу северных варваров, тогдашний Петербург. Надо вам сказать, что чуть ли не с предыдущим дилижансом в город святого Петра приехал небезызвестный в свое время философ, некий Дени Дидро: это был – на мой взгляд – пренесносный кропатель философем, выскочка из мещан и притом с явным материалистическим уклоном. Я, как вам известно, не терпел и не терп-

лю материалистов, людей, любящих напоминать – кстати и некстати, – что благоуханная амбра на самом деле экскремент кашалота, а букет цветов, в который прячет лицо прелестная девушка, на самом деле лишь связка оторванных половых органов растений. Кому нужно это дурацкое *на самом деле*? Не понимаю. Но к делу. Мы были приняты при дворе оба: Дидро и я. Не скрою: вначале императрица благоволила как будто больше, вы только представьте себе, к этому невоспитанному выскочке: Дидро мог, поминутно нарушая этикет, расхаживать взад и вперед перед самым носом коронованной собеседницы, перебивать ее и даже в пылу спора хлопать по коленке. Екатерина, милостиво улыбаясь, выслушивала его нелепейшие проекты: об уничтожении пьянства в России, о борьбе с взяточничеством, реформировании мануфактур и торговли и рационализации рыбных промыслов на Белом море. Я спокойно, отодвинутый в тень, ждал своего случая и своего часа. И как только этот пачкун в платье, забрызганном чернильными кляксами, принялся, по соизволению царицы, за расширение рыбных промыслов, я тоже перешел от замыслов к делу: у местных охотников я приобрел несколько изловленных капканами лисиц и начал за глухими и высокими стенами заднего двора усадьбы, где я жил, свои – вскользь уже описанные в моих мемуарах, вы помните? – опыты принудительного выселения лисиц из их шкур. Все шло как нельзя лучше, притом с соблюдением полной тайны. И пока Дидро пробовал ловить рыбу из замерзшего моря, я,

явившись к царице, уже успевшей несколько разочароваться в своем любимце, почтительнейше просил ее присутствовать при одном показательном опыте, который может произвести переворот в пушном промысле. В назначенный день и час царица и ее двор прибыли ко мне на задний двор: четверо дюжих гайдуков с плетями в руках и лисица, привязанная за хвост к столбу, уже были готовы к их появлению. По данному мною знаку плети заходили вверх и вниз, и животное, рванувшись раз и другой, выпрыгнуло из своей кожи, тотчас же попав в руки пятого гайдука, только этого и дожидавшегося. Кто читал Дарвина, джентльмены, тот знает удивительную приспособляемость животных к среде. Выпрыгнув на мороз, голая лисица стала тотчас же покрываться мелкими шерстинками, шерстинки – тут же на глазах – длиннелись в шерсть, и вскоре, обросши новой шубой, бедняжка перестала дрожать, но, увы, лишь затем, чтоб снова очутиться у столба, под нахлестом плетей. И так – вы представляете себе – до семи шкур, пока животное, так сказать, не выпрыгнуло и из жизни. Приказав убрать падаль, я разложил семь шкур в ряд по снегу и, склонившись, сказал: «Семьсот процентов чистой прибыли». Императрица много смеялась, и я был допущен к руке. Затем мне было предложено составить письменный доклад о методах и перспективах пушной промышленности, что и было сделано незамедлительно. Начертав на докладе «гораздо», ее величество, собственной рукою зачеркнув всюду «лисицы, лисицам, лисиц», изволи-

ла проставить: «люди, людям, людей» и «исправленному верить. Екатерина». Оригинальный ум, не так ли?

Рассказчик скользнул глазами по кругу из улыбок и продолжал:

– После этого нос господина Дидерота вытянулся, как если б его ущемило табакеркой за миг до приятнейшей понюшки. Парижский мудрец, привыкший быть запанибрата и с истиной и с царицей, остался при одной истине. Общество вполне подходящее для подобного рода парвеню, хе-хе. Бедняге не на что было убраться восвояси – пришлось продавать за какие-то там сотни ливров библиотеку: приобрела ее императрица. На следующий же день, явившись на прием, я презентовал ее величеству тетрадь с описанием моих странствий и приключений. Прочтя, она сказала: «Это стоит библиотек». Мне были пожалованы поместья и сто тысяч душ. Желая отдохнуть от придворной лести и некоторых обстоятельств более деликатного характера, о которых умолчу, заметив лишь, что мне не слишком нравятся полные женщины, – я отправился смотреть свои новые владения. Странен, скажу я вам, русский пейзаж: среди поля, как грибы под шляпками, семейка кое-как прикрытых кровлями курных изб; входят и выходят из избы через трубу, вместе с дымом, над колодцами, непонятно для чего, длинные шлагбаумы, притом часто в стороне от дорог; бани, в отличие от крохотных хибарок, строятся в семь этажей, называемых у них «полками». Но я отвлекаюсь от темы. Среди просторов

чужбины мне часто вспоминался мой родной Баденвердер: острые аксан-сирконфлексы его черепичных кровель, старые полустертые буквы девизов, вчерненных в известь стен. Ностальгия заставляла меня беспокойно блуждать, лишь бы убить время, с ружьем через плечо по кочкам болот и тростниковым зарослям, ягдташ мой никогда не бывал пуст, – и вскоре слава обо мне, как об охотнике, – кое-что попало в мои мемуары, но незачем повторять то, что знает наизусть любой школьник, – прошла от Белых вод до Черных. Но вскоре на смену бекасам и куропаткам – турки. Да-да, была объявлена война с турками, и мне пришлось, повесив свой охотничий штуцер на гвоздь, взять в эти вот руки, говоря фигурально, двести тысяч ружей, не считая фельдмаршальского жезла, от которого я, помня наши прежние отношения с царицей, не считал возможным отказаться. После первого же сражения мы не видели ничего, кроме неприятельских спин. В битве на Дунае я взял тысячу, нет, две тысячи пушек; столько пушек, что некуда было их девать, – коротая боевые досуги, мы стреляли из них по воробьям. В одно из таких боевых затиший я был вызван из ставки в столицу, где на меня должны были возложить знаки ордена Василия Блаженного из четырнадцати золотых крестов с бриллиантами: верстовые столбы замелькали мимо глаз быстрее, чем спицы колес двуколки, к которым я иногда наклонялся с сиденья. Въезжая в столицу на дымящихся осях, я велел замедлить конский бег и, приподняв треуголку, проехал мимо высыпавших



мне навстречу толп к дворцу. Кланяясь направо и налево, я заметил, что все россияне были без шапок; поначалу это показалось мне естественным проявлением чувств по отношению к триумфатору, но и после того, как церемония въезда и принятия почестей была закончена, эти люди, несмотря на холодный ветер с моря, продолжали оставаться с обнаженными головами. Это показалось мне несколько странным, но не было времени на расспросы, снова замелькали версты – и вскоре я увидел ровные шеренги моих армий... – выстроившиеся для встречи вождя. Подъехав ближе, я увидел: и эти без шапок. «Накройсь», – скомандовал я, и, тысяча дьяволов, команда не была выполнена. «Что это значит?!» – повернул я взбешенное лицо к адъютанту. «Это значит, – приложил он дрожащие пальцы к непокрытой голове, – что мы врага шапками закидали, ваше высокопревосх...»

В ту же ночь внезапная мысль разбудила меня под пологом фельдмаршальской палатки. Я встал, оделся и, не будя ординарцев, вышел на линию передовых постов; два коротких слова – пароль и лозунг – открыли мне путь к турецкому лагерю. Турки не успели еще выкарабкаться из-под груд засыпавших их шапок, и я беспрепятственно добрался до ворот Константинополя, но и здесь, так как многие из шапок дали перелет, все, по самые кровли, было засыпано шапочным градом. Придя к дворцу султана, я назвал себя и тотчас же получил аудиенцию. План мой был чрезвычайно прост: скупить все шапки, засыпавшие войска, жителей, улицы и

пути. Султан Махмуд сам не знал, куда девать как снег на голову свалившиеся шапки, и мне удалось скупить их за бесценок. К тому времени осень превратилась в зиму, и население России, оставшись без шапок, мерзло, простужалось, роптало, грозя бунтами и новым смутным временем. Правительство не могло опереться и на знать: лысые головы сенаторов мерзли в первую голову, и горячая любовь к престолу заметно охлаждалась с каждым днем. Тогда я погрузил корабли и караваны с моими шапками и через нейтральные страны направил в мириадоголовую Россию; товар шел чрезвычайно бойко, и чем ниже падала ртуть в термометрах, тем выше ползла цена.

Вскоре миллионы шапок вернулись к своим макушкам, и я стал самым богатым человеком в разоренной войной и контрибуциями Турции. К тому времени я успел сдружиться с султаном Махмудом и решил вложить свои капиталы в дело восстановления страны. Однако дворцовые интриги заставили султана вместе со мною и гаремом переменить резиденцию: мы переехали в Багдад, богатый если не золотом и серебром, то сказками и преданиями. И я опять затосковал о моем далеком, пусть убогом, но близком сердцу Баденвердере. Когда я стал просить у моего венчаного друга отпустить меня на родину, султан, роняя слезы в бороду, говорил, что не переживет разлуки. Тогда, желая, по возможности, укоротить время предстоящих нам разлук, потому что и я не мог жить, хоть изредка не навещая родового гнезда моих дедов и

прадедов, – я решил соединить Баденвердер и Багдад стальными параллелями рельс. Так возник, увы, не скоро дождавшийся своего осуществления, проект Багдадской железной дороги. Мы почти уже приступили к работе, но...

Барон вдруг прервал свой рассказ и замолчал, вперив глаза в мерцающий глаз лунного камня на указательном пальце правой руки.

– Но почему же вы остановились на полдороге? – сорвалось с чьих-то уст.

– Потому, – обернулся на голос барон, – что в то время железная дорога, видите ли, еще не была изобретена. Всего лишь.

По кругу пробежал легкий смех. Но барон оставался серьезным. Наклонившись к дипломатическому лицу, он тронул лицу колено и сказал:

– Воспоминания овладели мной. Согласен. Еду. Как это говорит их пословица: «Когда русский при смерти, немец чувствует себя вполне здоровым». Хе-хе...

И, подняв голос навстречу протянувшимся отовсюду ушам, добавил:

– О, наша геральдическая утка никогда еще не складывала крыльев.

Затем последовали рукопожатия, шарканье ног, а через минуту швейцар у вращающихся стекол подъезда Сплендид-отеля кричал:

– Авто барона фон Мюнхгаузена!

Щелкнула дверца, сирена рванула воздух, и кожаные подушки, мягко раскачиваясь, поплыли в торжественную, иллюминированную звездами и фонарями, ночь.

# Глава IV

## In Partes Infidelium<sup>6</sup>

Оферта и акцепт получили деловое оформление. Барон уезжал в Страну Советов в качестве корреспондента двух-трех наиболее видных газет, поставляющих политическое кредо в семизначном числе экземпляров самым отдаленным меридианам Соединенной империи. От акцептанта требовалось возможно строгое инкогнито, вследствие чего количество цилиндров, черневших под окнами вагона, предоставленного барону фон Мюнхгаузену, было весьма ограничено, а кодаки и интервьюеры и вовсе изъяты. За минуту до отправного сигнала барон показался на площадке вагона: на голове у него круглилась поношенная серая кепка, из-под пальто-клевша поблескивала кожаная куртка, на ногах – сапоги гармоникой. Костюм вызвал одобрителное качание цилиндров, и только епископ Нортумберлендский, пришедший взглянуть на барона, быть может, в последний раз, вздохнул и сказал: *In partes infidelium, cum Deo.*<sup>7</sup> Amen.

Дипломатическое лицо, подтянувшись на ступеньку, сделало знак отъезжавшему, – тот нагнулся.

– Дорогой барон, не шутите с перлюстраторами. Подпи-

---

<sup>6</sup> В чужие края (лат.).

<sup>7</sup> С Богом (лат.).

сывайте чужим именем, как-нибудь там...

Барон кивнул головой:

– Понимаю: «Зиновьев» или...

Но поезд, лязгнув буферами, тронулся. Лицо подхватили под локти, цилиндры приподнялись над головами, занавеска за уплывающим окном задернулась, – и недосказанные слова вместе с недосказавшим – отправились.

Дувр. Ла-Манш. И снова задернутая занавеска – мимо гудящих дебаркадеров, – вычитание километров из километров.

Только один человек на всем континенте знал о дне и часе, когда Мюнхгаузен будет проезжать через Берлин. Это был Эрнст Ундинг. Но письмо, отправленное ему из Лондона, не сразу нашло адресата. Венец сонетов, над которым работал в это время поэт, выглядел, словно он был из терна – в мозг, и платил бессонницами, отнюдь не пфеннигами. И Ундинг, после тщетных препирательств с голодом, принужден был принять предложение косметической фирмы «Веритас» разъезжать в качестве агента фирмы по городам и городкам Германии. Письмо несколько дней кряду гонялось за ним, обрастая штемпелями, пока адресат не был достигнут им в городе Инстербурге на линии Кенигсберг – Эйткунен, в тридцати с чем-то километрах от границы. Письмо пришло как раз вовремя. Сопоставив цифры путеводителя с данными письма, Ундинг легко высчитал, что берлинский поезд, с которым должен ехать Мюнхгаузен, пройдет сегодня в де-

вять тридцать вечера мимо Инстербурга. Карманные часы показывали восемь пятьдесят. Боясь опоздать к встрече, Ундинг оделся к вокзалу. В назначенное время берлинский экспресс подкатил к перрону. Ундинг быстро прошагал вдоль поезда – от локомотива к хвосту и обратно, – заглядывая во все окна: Мюнхгаузена не было. Через минуту поезд опростал рельсы. В недоумении Ундинг отправился в станционное бюро: тот ли поезд и когда следующий. Бюро ответило: тот, следующий дальнего следования к границе через два часа с минутами. Ундинг заколебался: дела вынуждали его с десятичасовым в Кенигсберг – в кармане уже лежал билет. Повертев в руках картонный прямоугольничек, он прокомпостировал его в кассе и, сев на скамью внутри вокзала, стал следить глазами кружение часовой стрелки на стене. Он ясно представлял себе близившуюся встречу. Окно вагона упадет вниз, над ним протянутая рука Мюнхгаузена – длинные костистые пальцы с лунным бликом на указательном; ладони встретятся, и он, Ундинг, скажет, что если б в мире и не было иной реальности, кроме этого вот рукопожатия, то... За стеной загрохотало: экспресс. Ундинг, стряхнув мысли, бросился к выходу на перрон: надвигающиеся огни паровоза, шипение тормозов – и снова вдоль вагонов, до фонаря, красным карбункулом выпятившегося с последней стенки последнего вагона: ни одно из окон не упало вниз, ничей голос не окликнул, ничья рука не протянулась навстречу руке. Ударило медь о медь – и снова голые рельсы. Поэт Ундинг долго

стоял на ночном перроне, обдумывая ситуацию: было совершенно ясно – Мюнхгаузен *изменил маршрут*.

Наутро, сидя в дешевом номере одной из кенигсбергских гостиниц, Ундинг набросал стихи, в которых говорилось о длинном, в сорок-пятьдесят вагонов-годов, поезде, груженном жизнью, годы, лязгая друг о друга, берут крутые подъемы и повороты; равнодушные стрелки переводят с путей на пути, кровавые и изумрудные звезды гороскопов пророчествуют гибель и благополучия, пока катастрофа, разорвав все сцепы годов с годами, не расшвыряет их врозь друг от друга, кромсая и бессмысля, по насыпи вниз.

После этого, уж если пользоваться образами Ундинга, прокружили дни одного года, лязгнув буферами, стал надвигаться следующий с календарной пометой поверх plombированной двери «1923», когда имя Мюнхгаузена, исчезнувшее со столбцов всех газет мира, снова появилось на первых страницах официозов Англии и Америки. От этого огромные тиражи их гигантизировались. Впрочем, не только тиражи: и глаза людей, раскупавших корреспонденции барона Мюнхгаузена, неизменно расширились, как если б в его сообщениях был атропин. И только одна пара глаз, наежившаяся колючими ресницами, внутри красных каемок век, встретившись с подписью Мюнхгаузена, сузила зрачки и дернула бровью. Чьи они были, эти два недоверчивых глаза, говорить излишне.



# Глава V

## Черт на дрожках

Тем временем строки мюнхгаузиад, как селитренные нити огонь, перебрасывали вновь вспыхнувшее имя от свечи к свече, и вскоре вся увитая мишурой и путаницей, блестящей канители, мировая пресса оделась, как рождественская елка, в желтые язычки. Еще неделя, другая, месяц – и имени барона стало тесно в газетных листах: выскочив из бумажных окладышей, оно ползло на афишные столбы и качалось буквами световых реклам – по асфальтам, кирпичу и плоским доньям туч. Афиши возвещали: барон фон Мюнхгаузен, только что вернувшийся из Страны Советов, прочтет отчет о своем путешествии в большом зале Королевского Общества в Лондоне. Кассы осаждались толпами, но внутрь старинного здания на Пикадилли вошли лишь избранные.

В обещанный афишами час на кафедре появился Мюнхгаузен: рот его был еще спокойно сжат, но острый кадык меж двух углышков крахмального воротника слегка шевелился, как пробка, с трудом сдерживающая напор шампанского. Долгий грохот аплодисментов переполненного зала заставил лектора склонить голову и ждать. Наконец аплодисменты утихли. Лектор обвел глазами круг: у локтя стакан и графин с водой, слева экран для волшебного фона-

ря, прислоненная к экрану лакированная указка, похожая на непомерно раздлиннившийся маршальский жезл. И отовсюду – справа, слева и спереди навстречу словам сотни и сотни ушных раковин; даже мраморные Ньютон и Кук, выставившись из своих ниш, казалось, приготовились тоже заслушать доклад. К ним-то и обратил барон Иеронимус фон Мюнхгаузен свои первые слова.

# 1

– Если некогда капитан Кук, отправившийся открывать дикарей, был ими съеден, то, очевидно, мои паруса попали под удар более милостивых ветров: как видите, леди и джентльмены, я жив и здоров (легкое движение в зале). Великий британский математик, – протянул оратор руку к нише с Ньютоном, – следя падение яблока, оторвавшегося от ветки, перечислил движение сфероида, называемого «земля», этого гигантского яблока, некогда тоже оторвавшегося от солнца; слушая на ночных перекрестках Москвы их распеваемую всеми и каждым революционную песнь о «яблочке», я всякий раз пробовал понять, куда же оно, в конце концов, покатилося. Уточню: и докатилось. Но к фактам. Отправляясь в страну, где все, от наркома до кухарки, – правят государством, я решил так или иначе разминуться с русской таможней; не только в голове, но и в кармане моей куртки я вез кое-какие слова, не предназначенные для осмотра. До Эйткунена я не предпринимал никаких шагов. Но когда вагон, в котором я находился, проехав крохотное буферное государствьице, собирался ткнуться буферами в границу РСФСР, я решил устроить пересадку: с рельсов на траекторию. Как вам, вероятно, известно, леди и джентльмены, я умел в молодости объезжать не только диких коней, но и пушечные ядра. У меня, не считая содержимого моих кар-

манов, не было никакого багажа, и я быстро добрался до одной из пограничных крепостей, обратившей свои жерла к Федерации республик: любезный комендант с фамилией, начинающейся на ПШТШ, узнав из бумаг, кто я, согласился предоставить в полное мое распоряжение восемнадцатидюймовый стальной чемодан. Мы отправились к бетонной площадке, на которой, задрав свой длинный прямой хобот кверху, громоздилось стальное чудовище. По знаку коменданта, орудийные номера стали снаряжать меня в путь: орудийный затвор открылся, подкатила тележка с коническим чемоданом, щелкнуло сталью о сталь, и комендант козырнул: «Багаж погружен, просим пассажира занять место». Орудие опустило, как слон, которому дети протягивают сквозь решетку пирожное, свой длинный хобот, – я вспрыгнул на край, внимательно вглядываясь в дыру: как бы не пропустить нужный миг. Затем залитая железом дыра снова поползла кверху и Пштшскомандовал: «Трубка 000, по РСФСР господином бароном... пли!» – и... закрыв глаза, я прыгнул. Неужели уже? Но, открыв глаза, я увидел, что сижу под железным слоном, а вокруг все те же улыбающиеся рожи Пштш'ов. Да, я сразу же должен был признать, что технику не перешагнешь: даже фантазмам не перегнать ее: оседлать современный снаряд не так легко, как прежнюю неповоротливую чугунную бомбу. И только после двух, сознаюсь, неудачных попыток мне удалось наконец оседлать гудящую сталь. Секунд десять воздух свистел в моих ушах, пробуя сдунуть меня со снаряда;

но я опытный кавалерист и не выпускал из-под сжатых колен его разгоряченные круглые бока, пока толчок о землю не прекратил полета. Толчок этот был так силен, что я как мяч подпрыгнул вверх, потом вниз, опять вверх, пока не ощутил себя сидящим на земле. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что излетным концом траектория, по счастью, ткнулась в копну сена, стоящую на болоте; правда, сено вплющилось в кочки, но кочки, как рессоры, смягчили удар, избавив меня не только от гибели, но даже от ушибов.

Итак, граница позади. Вскочив на ноги, я прокружил глазами по горизонту. Ровное, незасеянное поле. Низкий потолок из туч, только где-то вдалеке подпертый десятком дымок. «Деревня», – подумал я и направился к дымам. Вскоре из земли выкочковались и дома. Приблизившись на расстояние человеческого голоса, я увидел у края деревни человеческие фигуры, движущиеся от дома к дому, но не стал их окликать. Солнце, как и я, описав свою траекторию, падало к земле; в глухой деревушке зажигались огни, пахло паленым мясом, навстречу мне ползли черные длинные тени, и я, невольно задержав шаги, спрашивал себя: следует ли блюду торопиться к ужину? Положение было трудным: некого спросить, не с кем посоветоваться. Другой на моем месте растерялся бы: но я прибыл в Страну Советов не за советами и после минуты размышления знал, что предпринять.

Дело в том, что сапоги мои были перешиты из старых охотничьих сапог, обладавших некоторыми особенностями.

Много лет тому, когда я потерял своего любимого пса, что уже рассказано однажды в моих мемуарах, я решил не отягчать сердца новыми привязанностями, влекущим и новую боль утрат, и стал охотиться без собаки. Ведь собаку могут с успехом заменить хорошие дрессированные сапоги, да-да, – и так как к тщете воспоминаний о погибшем псе присоединилась и старая ревматическая боль, мешавшая мне ходить по болотам, то я с терпением и упорством, свойственным всем из рода Мюнхгаузенов, принялся за дрессировку моих охотничьих сапог. В конце концов мне удалось добиться благоприятных результатов, и мои одинокие прогулки со штуцером за плечами происходили обычно так: дойдя до болотистого места, где водится дичь, я снимал с ног сапоги и, поставив их носками в нужную сторону, говорил: «Шерш! Шерш!» И сапоги, с кочки на кочку, шагали, шурша кожей о камыш, и вспугивали дичь. Мне же оставалось только, сидя на сухом месте, спускать курки. Дичь падала мне внутрь голенищ. После этого короткое «Апорт», – и дрессированные сапоги возвращались назад, чтобы покорно подставить кожаные раструбы под хозяйские пятки.

Так и теперь: стащив сапоги с ног, я поставил их носками к деревне и – шерш. Сапоги, успевшие за несколько дней пребывания в вагоне застояться, быстро зашагали навстречу огням. Они шли, подняв кверху свои петельчатые ушки, то растягиваясь, то приседая на своей гармошке, с видом опытных и осторожных лазутчиков. Я провожал их глазами до

самой деревни. Но тут произошло нечто непредвиденное: группа людей, заметив пару сапог, идущих на них, с криками ужаса бросилась врассыпную. Внезапная мысль осенила меня: ведь я в стране суеверов и невежд, что, если паре сапог удастся вселить ужас в эту деревню и в следующую, и в ту, что за ней, – и мы пройдем – пара сапог и я, – гоня перед собой охваченные страхом толпы темного крестьянства, которое, смыв на пути города, заразив древним киммерийским ужасом массы и сонмы, очищая избы и дворцы, хлынул за Урал. Тогда я, подтянув за петельчатые уши подошвы к пяткам, из какого-нибудь Краснококшайска – радиограмму: «Взял Россию голыми ногами. Подкреплений не надо». И, развивая успех, я поднялся с места, готовый развернуть стратегему до конца, хотя б ценою мозолей на пятках. Но ситуация вдруг резко переменилась: отступившая было деревня, внезапно ощетинившись вилами и кольями, пошла дикой, галдящей ордой в контратаку на мои сапоги. Те было попробовали носками вспять, но было уже поздно. Ревущая орда, крестясь сотнями рук и размахивая вилами, сомкнула кольцо. Затем все смолкло и я не мог видеть, что происходит внутри круга из людей. Подобравшись, сколько мог ближе к попавшим в плен сапогам, я услышал несколько спорящих голосов, вскоре, однако, уступивших чьей-то медленной старческой речи. Отслушав, все разошлись, оставив на месте происшествия лишь одного старика, который, скинув лапти, не торопясь, натягивал на ноги мои сапоги. Выждав,

когда старик обулся, я, прячась в высокой траве, сначала тихо свистнул (сапоги, слышав мой голос, повернули в мою сторону), затем крикнул: «Апорт». Старик хотел было носками к избе, но не тут-то было: сапоги, схватив его дряхлые ноги, зашагали им в противоположную сторону. Тщетно пробовал он, цепляясь руками за кусты и траву, остановить свои ноги, – мои верные сапоги продолжали шагать вместе со стариком, в них вдетым, назад к своему хозяину. Бедняга, видя, что ему не справиться с сильнейшим противником, попытался было спиной на землю, но сапоги, согнув ему ноги в коленях, продолжали тащить тело спиной по земле, пока похититель не очутился передо мной. И я верю, леди и джентльмены, что рано или поздно все национализированное вернется к своим собственникам, как мои сапоги вернулись ко мне. Это же сразу сказал я и поверженному старику, добавив, что стыдно ему, убеленному сединой, менять бога на социализм. Старик, объятый священным ужасом, выдернулся из сапогов и побежал, роняя портянки, к деревне. Вскоре все население деревни вышло мне навстречу крестным ходом с хлебом-солью, кладя земные поклоны, под звон колоколов. Я принял приглашение добрых поселян и остановился на ночлег в их деревне. Пока я спал, слух обо мне, не смыкая глаз, бродил по окрестным селам. К утру у моего окна собралась огромная толпа жалобщиков и просителей. Я выслушал все просьбы и никому не отказал. Например, жители одной деревеньки обратились ко мне за разрешени-



ем их давнишнего спора, поделившего деревню на две враждебные стороны. Дело в том, что одна половина деревни занималась извозным промыслом, другая – земледелием. Но гражданская война уменьшила число лошадей в телеги – плуги хоть на себе тащи; впрячь в плуги – телеги самим возить. Воспоминания помогли мне разрешить этот трудный казус: я приказал принести пилу – и, одна за другой, лошади были распилены надвое, вследствие чего и количество их удвоилось. Передние ноги впрягли в телеги; задние – в плуги, и дело пошло на лад. Так я боролся с безлошадностью, и если б правительство Советов приняло, как в этой, так и в других областях народного хозяйства, мою точку зрения, оно б избежало годов разрухи и оскудения. (По залу шорох аплодисментов.) Крестьяне не знали, как и благодарить меня. Они подарили мне одну из двуногих лошадей, я оседлал ее, и продолжал свой путь, направляясь к ближайшей станции железной дороги.

## 2

Крестьяне предупреждали меня, что близ железнодорожных путей беспокойно и в темную ночь легко попасть в руки бандитов. Не заблудись я в русском бездорожье, я успел бы до сумерек добраться до станции. Но путанные проселки кружили меня до самой ночи. Половина коня устало перебирала двумя копытами, когда я слышал надвигающийся топот множества лошадей. Это была банда. Я пустил в дело шпоры, но на двуногом от четырехногих не ускачешь. Вскоре всадники сомкнули вокруг меня кольцо: я протянул руку к эфесу, но вспомнил, что шпага моя осталась в Берлине, в шкафу, на Александер-платце. Бандиты сузили круг: я протянул руку к своему темени, решив выдернуть себя за косу из неподходящего общества (как некогда вытащил себя таким же способом из болота), но, проклятие, — пальцы мои ткнулись о стриженный затылок: увы, приходилось сдать. И я сдался. Впрочем, разбойники не причинили мне ни малейшего зла и вообще отнеслись ко мне радушно, почти как к своему. В ту же ночь они выбрали меня в атаманы. Так как все это происходило ночью, в абсолютной тьме, то не знаю, что руководило этими людьми, может быть, инстинкт.

Скрепя сердце я должен был подчиниться: люди добры, пока им не противоречишь. Например, отношения между мною и вами, леди и джентльмены, построены на том, что я

вам не противоречу: вы говорите, что я есмь, хорошо, не будем спорить, – но если вы скажете... Впрочем, вернемся к событиям. Я не честолюбив, и титул атамана мне мало льстил: чуть ли не каждый день я предлагал им меня свергнуть, перейти к республиканскому образу правления и сослать меня, ну хотя бы в Москву. Банда в конце концов и соглашалась отпустить меня, но с тем, чтобы я дал за себя выкуп: деньгами или добрым советом, чем и как хочу. Что ж. Подумав с минуту, я составил план рационализации разбойного промысла. Каждому ясно, что в разоренной стране положение труженика «дубовой иглы» (термин, принятый в их стране) весьма незавидно и хлопотно. Днем ему приходится таиться в лесах, опасаясь встреч с красноармейскими винтовками, и только безлунные ночи дают ему возможность заняться, так сказать, перемещением ценностей, ловить своим карманом укатывающиеся монеты, как энтомолог ловит своим сачком упархивающих бабочек. Таким образом, все лунные ночи, дающие монете лишний шанс ускользнуть, оказывались бездоходными. Вот в одну из таких залитых лунным серебром ночей я вывел банду к опушке леса и, построив ее в ряд, тремя десятками ртов в луну приказал дуть на небесное светило. У людей этих были завидные легкие (русский народ развивает их, раздувая свои самовары): под ветром дружных дыханий луна мигнула, вытянула свои зеленые языки и погасла. Застигнутые врасплох безлунием обозы и путники попали в наши руки.

Еще несколько повторных упражнений, и шайка уже не нуждалась больше в инструкторе. Это привело к ряду затмений последних лет и вообще недостаточно точно объясненных, таинственных явлений на небесном своде: причина кроется, как я это беру смелость заявить здесь в святище науки, в одном из лесов прирубежной России. Мой друг Альберт Эйнштейн, которого я забыл заблаговременно предупредить, несколько поспешил, исходя из этих небесных аномалий, сделать свои последние выводы: то, что можно объяснить экономически, и в этом прав Маркс, не нуждается в астрономических выкладках; в поисках причин незачем рыться в звездах, когда они могут быть отысканы тут вот, под подошвой, на земле. И если найдется впоследствии человек, который, вразрез сказанному, захочет писать о «непогашенной луне», то пусть он остерегается встречи со мною, Мюнхгаузен: я изобличу его во лжи.

(Оратор, оборвав на секунды, наклонил хрусталь графина к стакану; в зале была такая тишина, что даже из последних рядов было слышно бульканье воды в горлышке графина.)

### 3

Тридцать винтовок салютовали мне в час прощания. Оставив за спиной опушку леса, я направился, держа путь на паровозные свистки, изредка ориентировавшие меня в путаном клубке полевых дорог. Наконец я добрался до затерянного на равнине полустанка и стал дожидаться поезда на Москву. Платформа была завалена мешками и кулями, у которых и на которых сидели и лежали люди, поджидавшие, как и я, прихода поезда. Ожидание было долго и томительно. Безбородое лицо моего соседа, расположившегося на пустом (как показалось мне на первый взгляд), но в три узла перевязанном мешке, успело покрыться рыжей щетиной, когда на горизонте наконец показался долгожданный дымок. Поезд полз со скоростью дождевого червя, и я боялся, как бы он, червя подобно, не уполз в землю, оставив над пустыми рельсами лишь серую спираль дымка.

Многим из присутствующих в зале, может быть, покажется странным это мое ощущение, но мне, сангвинику, все медленное, измеренное и тягучее всегда казалось мнимым, нереальным, и, может быть, потому неторопящаяся, вся на замедленных скоростях, переключенная с секундных стрелок на часовые, Россия дала мне целый комплекс призрачности и ощущений галлюцинаторности. В вагоне, дожидавшемся сигнала к отправке, моим соседом был тот же в рыжей

щетине с пустым мешком на плечах человек. Правда, пусто-та эта неожиданно звякнула при ударе о вагонную полку.

– Что вы везете? – не мог я не полюбопытствовать.

– Шило в мешке, – ответила щетина.

– Думаете продать?

– Конечно. В Москве на это спрос.

Я повеселел. Ведь и мой товар был приблизительно та-кого же ассортимента. Притом поезд тронулся, что повыси-ло мое настроение еще больше. Но не надолго. Проклятый червь над каждой шпалой делал остановку, как если бы шпа-ла была станцией. Пассажиры, однако, не выражали удивле-ния, как если бы все было в порядке вещей. К вечеру мы доползли до следующего полустанка. Желая размять ноги, я прошел вдоль поезда до паровозной трубы, сыплющей в чер-ную, как земля, ночь пригоршни красных зерен: при их све-те я увидел, что в тендере не уголь и не дрова, а груды книг. Изумленный такой странной постановкой библиотечного де-ла, я, дождавшись, когда толчок двинувшегося поезда раз-будил соседа, обратился к нему с новыми вопросами. В раз-говор наш вмешались и другие пассажиры, и вскоре многое для меня стало ясно – в том числе и причина нашего толч-кообразного, от шпалы до шпалы, движения.

– Видите ли, – заобъясняли мне со всех сторон, – наш машинист из профессоров, ученейший человек, ни одной книжки не пропустит, уж он от доски до доски пока не прочтет – в топку не бросит, нет: вот и едем, полено за поленом,

то есть книга за книгой, пока не...

– Но позвольте, – вспыхнул я, – мы должны жаловаться, пусть его уберут и дадут другого машиниста.

– Другого? – вытянулись со всех полок встревоженные шеи. – Ну еще неизвестно, какой попадется, другой-то ваш. Вот на соседней ветке машинист, так тот кроме «Анти-Дюринга» никаких и никого – все книги в топку, грудками, до раскала, на полный ход, но если попадется ему, упаси господи, «Анти-Дюринг» – глазами в книгу... ну, и уж тут без крушения не бывает. Нет уж, другого нам не надо; этот хоть эйле-мит-вэйле, хоть по вершку в день, да тянет, а «другого» еще такого допросишься, что антидюрингнет с насыпи колесами кверху, и вместо Москвы – царствие небесное.

Я не стал спорить, но к числу нотабене, спрятанных в записную книжку, прибавилось еще одно. По приезде в Москву выясню, надолго ли хватит запасов русской литературы.

Когда мы подъезжали к московскому вокзалу и я уже взялся за ручку двери, стрелочник развернул красный советский флаг, что у них означает «путь закрыт». И в виду самой Москвы, бросившей в небо тысячи колоколен, пришлось прождать добрый час, пока стрелка пустила поезд к перрону.

Первое, что бросилось мне в глаза, объявление на вокзальной стене, в котором Наркомздрав Семашко почему-то просит его не лугать. Я поднял брови и так и не опускал за все время пребывания в Москве. Готовый к необычайностям, с бьющимся сердцем вступил я в этот город, построенный на кровях и тайнах.

Наши европейские рассказы о столице Союза Республик, изображавшие ее, как город наоборот, где дома строят от крыш к фундаменту, ходят подошвами по облакам, крестятся левой рукой, где первые всегда последние (например, в очередях), где официоз «Правда», потому что наоборот, и так далее и так далее – всего не припомнишь, – все это неправда: в Москве домов от крыш к фундаменту не строят (и от фундамента к крышам тоже не строят), не крестятся ни левой, ни правой, что же до того, земля или небо у них под подметками, не знаю: москвичи, собственно, ходят без подметок. Вообще голод и нищета отовсюду протягивают



тысячи ладоней. Все съедено – до церковных луковиц включительно; некоторое время пробовали питаться оптически-ми чечевицами, из которых, говорят, получалась неуловимо прозрачная похлебка. Съестные лавки – к моменту моего приезда – были заколочены, и только у их вывесок с нарисованными окороками, с гирляндами сосисок и орнаментом из редисочных хвостов или у золотых скульптурных изображений кренделей и свиных голов стояли толпы сгрудившихся людей и питались вприглядку. В более зажиточных домах, где могли оплатить труд художника, обедали, соблюдая кулинарную традицию по-старому. У стола: на первое подавали натюрморт голландской школы с изображением всевозможной снеди, на третье – елочные фрукты из папье-маше. К этому присоединялся и товарный голод: на магазинных полках, кроме пыли, почти ничего. Смешно сказать, когда мне понадобилась палка, обыкновенная палка (тротуары там из ухабов и ям), то в магазине не оказалось палок о двух концах: пришлось удовольствоваться палкой об одном конце. Или вот пример: когда один из москвичей, доведенный бестоварьем до отчаяния, попробовал повеситься, оказалось, что веревка свита из песку: вместо смерти пришлось ограничиться ушибами. Безобразие.

Внутренние разногласия, во время моего пребывания в столице, еще усугубляли разруху и бедность. Так, однажды, проходя мимо ряда серых, паутинного цвета домов, я с удовольствием остановился у особняка, выделявшегося свежим

глянцем краски и рядами застекленных окон. Но когда на следующий же день случаю угодно было привести меня к этому же дому, я увидел: стены пожухли и покосились, а улица перед фасадом под обвалившейся штукатуркой и битым стеклом.

– Что произошло в этом доме? – обратился я к прохожему, осторожно пробирававшемуся, стараясь не занозить своих голых пяток о стекло.

– Дискуссия.

– Ну, а после?

– После: лидер оппозиции, уходя, хлопнул дверью. Вот и все.

– Чушь, – обернулся на наши голоса встречный, – уходя, он прищемил о дверь палец. А суть дела в том, что...

– Для меня, – угрюмо перебил первый, внезапно захромав, – суть в том, что из-за ваших расспросов я порезал себе пятку.

Две спины разошлись – влево и вправо, оставив меня в полном недоумении.

Оратор нажал кнопку. Свет сменился тьмой, и на матовом квадрате экрана дрогнули, стали и отчетчились удвоенные контуры дважды заснятого дома: до и после.

Сквозь иные из голов продернулась было ассоциация: старые, полузабытые фотографии Мартиникского землетрясения. Но прежде чем воспоминание досозналось, – кнопка сомкнула провода, вспыхнули лампы и оратор продолжал,

не давая вниманьям отвлечься в сторону.

## 5

Если взглянуть на Москву с высоты птичьего полета, вы увидите: в центре каменный паук – Кремль, всматривающийся четырьмя широкооткрытыми воротами в вытканную им паутину улиц: серые нити их, как и на любой паутине, расходятся радиально врозь, прикрепляясь за дальние заставы; поперек радиусов, множеством коротких перемычек, переулки; кое-где они срослись в длинные раздужья, образуя кольца бульваров и валов; кое-где концы паутинным нитям оборвало ветром – это тупики; и сквозь паутину, выгибаясь изломленным телом, затиснутая в цепких двулапьях мостов синяя гусеница – река. Но разрешите птице опуститься на одну из московских кровель, а мне сесть в пролетку.

– Куда? – спрашивает возница, разбуженный моим прикосновением к плечу.

– В Табачихинский переулок.

– Миллиардец с вашей милости.

Возница стегает полуиздохшую лошаденку, пролетка с булыжины на булыжину, – и мы, взяв горб моста, вкатываемся в путаницу Замоскворецких переулков; в одном из них крохотный, в раскосых окнах, со скрипучим крылечком, домик.

– Профессор Коробкин дома?

– Пожалуйте...

Вхожу. Маститый ученый косит мне навстречу из-под сте-

кол очков. Я объясняю цель прихода: иностранец, хотел бы ознакомиться с материальными условиями, в которые поставлена русская наука. Профессор извиняется: он не может подать руки. Действительно, пальцы замотаны в марлю и перетянуты бинтами. Озабоченно расспрашиваю. Оказывается: лишенные самых необходимых научных пособий, как, например, грифельной доски, ученые принуждены бродить с куском мела в руке, отыскивая для записей своих выкладок, чертежей и формул хоть некие пособия досок. Так, профессору Коробкину, не далее как вчера, удалось найти весьма неплохую черную спинку кареты, остановившейся где-то тут неподалеку у одного из подъездов; профессор приладился к ней со своим мелом, и алгебраические знаки закрипели по импровизированной доске, как вдруг та, завертев колесами, стала укатывать прочь, увозя с собой недооткрытое открытие. Естественно, бедный ученый бросился вслед за улетающей формулой, но формула, сверкнув спицами, круто в переулок, навстречу оглобли, удар – и вот: замотанные в марлю конечности досказывали без слов. Очутившись снова на улице, я стал внимательнее следить за стенками карет и автомобилей. Вскоре, проходя мимо одного из отмеченных серпом и молотом подъездов, я увидел быстро подкативший к ступенькам подъезда автомобиль: на задней стенке его, расчеркнувшись белыми линиями по темному брезенту, недочерченный чертеж. Взглянув по направлению, откуда приехал чертеж, я вскоре отыскал глазами и чертежни-

ка: из длинной перспективы улицы, с мелким, белеющим из протянутой руки, бежал, астматически дыша и бодая лысиной воздух, человек. Чисто спортивная привычка заставила меня, вынув хронометр, толчком пружины пустить стрелку по секундам и осьмым. Но в это время хлопнула дверца автомобиля: человек с глазами, спрятанными под козырек, с портфелем под наугольником локтя, вышагнувший из машины, прервал мои наблюдения:

– Иностранец?

– Да.

– Интересуетесь?

– Да.

– Так вот, – протянул он палец к добегающей лысине, – скажите вашим: красная наука движется вперед.

И, повернувшись к дверям подъезда, он сделал приглашительный жест. Мы поднялись по лестнице в кабинет с тринадцатью телефонами. Пробежав губами по их мембранам, как опытный игрок на свирели по отверстиям тростника, человек указал мне кресло и сел напротив. Мне неудобно было спрашивать, но сразу было видно, что предстоит разговор с человеком видным и значимым. Собеседник говорил кратко, предпочитал вопросительный знак всем иным, без вводных и придаточных: он подставил свои вопросы, как подставляют ведра и лохани под щели в потолке при приближении дождя, и ждал. Делать было нечего: я стал говорить о впечатлении нищеты, безхлебья, бестоварья, от которых приедем с За-

пада положительно некуда спрятать глаза. Сперва я сдерживался, вел счет словам, но после недавние впечатления овладели мной, я дал свободу фактам – и они ливнем хлынули в его лохань. Я не забыл ничего – до палок об одном конце включительно.

Дослушав, человек снял картуз, и тут я увидел глаза и лоб, слишком знакомые для всех, хоть изредка заглядывающих в иллюстрированные Йирбуки, чтоб их можно было не узнать.

– Да, мы бедны, – поймал он мне зрачками зрачки, – у нас, как на выставке, – всего по экземпляру, не более. – (Не оттого ли мы так любим выставки.) – Ведь я угадал вашу мысль, не так ли? Это правда: наши палки об одном конце, наша страна об одной партии, наш социализм об одной стране, но не следует забывать и о преимуществах палки об одном конце: по крайней мере ясно, каким концом бить. Бить, не выбирая меж тем и этим. Мы бедны и будем еще беднее. И все же, рано или поздно, страна хижин станет страной дворцов.

С минуту я слушал дробь его пальцев о доску стола. Потом:

– Почему вы не спрашиваете о литературе?

Признаюсь, я вздрогнул: сощуренные глаза явно пробрались под обшлаг моей куртки и хозяйничали внутри записной книжки.

– Вы угадали мою мысль...

– И имя, – смех раздвинул и сдвинул щель рта, как диафрагму при короткой выдержке, – ведь литературному об-

разу естественно заинтересоваться литературой. «Как пахнет жизнь?» Типографской краской: для людей, населяющих книги или эмигрировавших в них. Так вот: всем перьям у нас дано выбрать: пост или пост. Одним – бессменно на посту; другим – литературное постничество.

– Но тогда, – возразил я, понемногу оправляясь от смущения, – начатое паровозной топкой, вы хотите закончить...

Он встал. Я тоже.

– За конкретностью – по этому адресу, – чернильная строчка, оторвавшись от блокнота, придвинулась ко мне, – ученая лысина, кажется, дочертила чертеж. Мне пора. Я мог бы отправить вас назад и через дымовую трубу, как это было принято в Средние века: вот эта телефонная трубка плюс три буквы вместо экзорцизма, – и вас, как пыль ветром. Но, зная попен,<sup>8</sup> предвижу и вашу омен.<sup>9</sup> Пусть. Иностранствуйте.

Мы обменялись улыбками. Но не рукопожатием. Я вышел за дверь. Ступеньки, как клавиши, выскальзывали из-под подошв. Только прохладный воздух улицы вернул мне спокойствие.

---

<sup>8</sup> Имя (лат.).

<sup>9</sup> Примета (лат.).



## 6

Адрес на блокнотном листке привел меня к колоннам барского особняка на одной из затишных московских улиц, сторонащихся биндюжного грохота и трамвайных звонков. Тот же блокнотный листок открыл дверь рабочей комнаты, в которой, как мне сказал слуга, находится сейчас хозяин дома. Переступив порог, я увидел огромный, широко раздвинувший свои углы зал, лишенный каких бы то ни было признаков мебелировки. Весь пол залы – от стен до стен – был застлан гигантским ослепительно белым бумажным листом, растянутым на кнопках: скользнув глазами по многосаженной странице, я увидел у дальнего края ее человека, который, стоя на четвереньках, двигался слева направо, перемещаясь по невидимым линейкам. Вглядевшись лучше, я увидел, что из-под пальцев рук и ног человека торчат острия вечных перьев, быстро ерзающих по бумажной равнине. Работая со скоростью заправского полотера, он, скрипя четырьмя перьями, тянул от стены к стене четыре чернильных борозды, постепенно придвигаясь все ближе и ближе ко мне. Теперь уже, вщурившись, я мог различить: верхней строкой тянулась трагедия, футом ниже трактат о генерал-басе и строгих формах контрапункта; из-под левой ноги прострачивались очерки экономического положения страны, а из-под правой – скрипел водевиль с куплетами.

– Что вы делаете? – шагнул я к полотеру, не в силах более удерживать вопрос.

Повернувшись ко мне, труженик поднял голову, близоручко всматриваясь сквозь вспотевшие стекла пенсне:

– Литературу.

Я ушел на цыпочках, боясь помешать родам.

На этом мое знакомство с научным и художественным миром Москвы не закончилось: я нанес визит составителю «Полного словаря умолчаний», был у известного географа, открывшего бухту Баракту, посетил скромного коллекционера, собирающего щели, присутствовал на парадном заседании «Ассоциации по изучению прошлогоднего снега». Другими словами, я вошел в курс волнующих вопросов, которым посвятила свои труды красная наука. Недостаток времени не позволяет мне, как ни заманчива эта тема, остановиться на ней подольше.

Странствуя из мышления в мышление, стучась во все ученые лбы, я не заметил происходящего аршином ниже: русская пословица о том, что коту взяло поперек живота, нуждается в поправках – коты давно уже были все съедены, и когда пробовали перечеркнуть вопрос о голоде поперек, он лез вкось, гневно урча из всех желудков, грозя, если не дадут хлеба, поглотить революцию. Я филантроп по натуре, имена Говарда и Гааза вызывают на моих глазах слезы, – и я решил посылить помочь сожженной пожарами и солнцем стране: я дал зашифрованную телеграмму, – и вскоре из Европы прибыло несколько поездов, груженных зубочистками. Вы представляете, леди и джентльмены, те чувства, с которыми население голодных губерний встретило эти поезда. Первый успех удвоил мои силы: питательные пункты, организованные правительством Советов, не могли бороться со стихией голода: пункты раздавали по маковой росинке на человека, чтобы никто не мог сказать, что у него росинки во рту не было; это предотвращало ропот, но оставляло желудки пустыми. Я предложил было прибегнуть к помощи заклинателей крыс: были мобилизованы все заклинатели. Каждый питательный пункт получил по человеку с дудочкой, который, обходя дома, высвистывал из-под полов и подвалов прячущихся там крыс: ведомая мелодией, длинной вереницей – нос в хвост,

хвост в нос – пища шла сама к кухонным чанам и котлам.

Были пущены в ход и врачи-гипнотизеры: голодающего сажали в покойное кресло и, произведя над ним пассы, говорили: «Это вот не пепельница с окурками, а тарелка супа с клецками. Ешьте. Вот так. Теперь вы сыты. Утритеесь салфеткой. Следующий».

Но особенным распространением пользовались так называемые «Мюнхпиты», открытые по моему предложению (пришлось сослаться на литературный источник, не раскрывая, разумеется, своего инкогнито): несложное оборудование мюнхпита состояло из длинной бечевки, а пищевой запас из крохотного кусочка сала, которого хватало на неопределенно большое число... кувертов, скажу я, поскольку подача пищи происходила несколько а *couvert*:<sup>10</sup> в обеденный час люди выстраивались в очередь, лицами к раздатчику: раздатчик, привязав к бечевке сало, давал проглотить первому рту – и затем, вы помните моих уток, ну, вот: если очередь нарастала, к свободному концу бечевки подвязывали запасный шнур, если нужно было – к шнуру еще шнур и так далее: интересующихся отсылаю к практическому руководству по устройству мюнхпитов, вышедшему в сотнях тысяч экземпляров под заглавием: «Нететка». Кстати, люди, пообедавши таким образом, не сразу могли расстаться друг с другом; за первым шел второй, а за вторым – *volens-nolens*<sup>11</sup> тре-

---

<sup>10</sup> Здесь: порционно (*франц.*).

<sup>11</sup> Волей-неволей (*лат.*).

тий... так вошли в обычай торжественные шествия, которые в настоящее время получили там, и по миновании голода, столь широкое распространение; даже обиходные слова вроде «крепить связь», «единая нить», «стержень» и другие являются, по-моему, отголосками мюнхпитовского периода.

*Пока* я наблюдал, странствовал по смыслам, сгружая их внутрь своих записных книжек, толкал вперед общественность и боролся с катаклизмом голода, время тянуло свою бечевку дней, подвязывая к дням дни и к месяцам месяцы. Подражая отрывному календарю, медленно осыпавшемуся квадратиками своих листов, и деревья на московских бульварах стали ронять листья. «Насытить телесный голод, – думал я, – это только полдела. Пробудить голод духовный – вот вторая его половина». Я старый, неисправимый идеалист, мои долгие беседы с Гегелем не прошли бесследно ни для меня, ни, думаю, для него: свобода – бессмертие – Бог – вот три ножки моего кресла, на которые я спокойно са... виноват, я хочу сказать, что и материалисты побеждают лишь постольку, поскольку они... **идеалисты своего материализма**. Пресловутая метла революции, которая больше пылит, чем метет, попробовала было идеалистов, как сор из избы, но, конечно, думалось мне, многие и многие из них зацепились за порог – и сколько спудов, столько светильников духа. Надо бы заглянуть в подспудье. Хотя бы раз. Случай помог мне: проходя по рынку, где нищие и торговцы попеременно протягивают ладони и товар, я наткнулся глазами на почтен-

ного вида даму, предлагавшую каминные щипцы: и щипцы и дама стояли, прислоненные к стене, очевидно, долго и устало дожидались покупателя. Я подошел и приподнял шляпу:

– Чтоб дотянуться до углей моего камина, мадам, нужны щипцы длиной в тысячу километров. Боюсь, ваши не подойдут.

– Но ими можно бить мышей, – заволновалась женщина.

Не споря, я уплатил требуемое и сунул щипцы под мышку: в торчавшую из-под моего локтя деревянную ручку был врезан графский герб. Я повернулся, чтобы идти, но графиня остановила меня:

– Меня мучит мысль, что мои щипцы все же несколько короче тех, которые вы ищете...

– Да, на девятьсот девяносто девять целых девятьсот девяносто девять десятых...

– Какая досада. Но может быть, я могла бы возместить недомер, познакомив вас с человеком, который видит на тысячу верст и тысячу лет вперед.

Я изъявил готовность – и вскоре один из спудов приоткрылся. То есть приоткрылась, собственно, скрипучая дверь в лачугу, где вместо обойного узора – пятна от сырости и клопов, а из раскрытой печки – обуглившиеся торчки родового древа. Сумрачный человек, которого любезная хозяйка представила мне, назвав достаточно известное имя автора книг о грядущих судьбах России, долго сидел, уставясь зрачками в носки своих сапог. Хозяйка, видя мое нетерпе-

ние, попробовала перевести глаза провидца с концов ботинок на конец вселенной. Человек скривил губы, но не сказал ни слова. Переглянувшись со мной, хозяйка переменяла тему:

– Вы заметили, что вороны на Тверском вместо «кра» стали кричать «ура». К чему бы это?

– Ни к чему, – пробурчал пророк и перевел зрачки от носков к торчкам из печки.

Графиня сделала мне знак: сейчас начнется. И действительно:

– Сказано в летописях: «Дымий град». И еще: «Над Московою солнце кроваво за дымью всходища». А в Домострое: «Аки пчелы, от дыму, ангелы отлетяша». И когда мы стали безангельны, дымы подымались из пространств во времена и настало неясное, как бы сквозь дымку, «смутное время». И самое время стало смутностью, смешались века, тринадцатый на место двадцатого: inde<sup>12</sup> – революция. Один из наших великих уже давно озаглавил ее: «Дым». Другой, еще давнее, писал о «Дыме отечества», который нам «сладок и приятен». И дымых сластен, любителей дымком побаловаться, дегустаторов гари и тлена прибывало и прибывало, пока отчизна, убывая и убывая, с дымом уйдя, не обратилась в дым, им столь сладостный и приятный. Взгляните на диски уличных часов: разве стрелы на них не вздрагивают от мерзи, отряхая с себя гарь и копоть секунд; разве глаза ваши не плачут, изъ-

---

<sup>12</sup> Затем, вследствие этого (лат.).

еденные дымом времен, разве... кстати, ваша печка, графиня, слегка дымит. Разрешите мне щипцы.

Мы с хозяйкой переглянулись: а вдруг пророк догадается, что его антиципации о дыме запроданы вместе с щипцами мне. Желая замасть неловкость, я заговорил в свою очередь, предлагая вниманию собеседников целую коллекцию вывезенных с запада новостей. Пророк сидел, опустив голову на ладони, и свесившиеся пряди волос закрывали от меня выражение его лица. Но графиня положительно расплывалась от удовольствия и просила еще и еще. Я говорил о водопадных грохотах европейских центров, о ночах, превращенных в электрический день, о реке автомобилей, дипломатических раутах, спиритических сеансах, модных дамских туалетов, заседаниях Амстердамского Интернационала и выездах английского короля, о модной бостонской религии и восходящих звездах мюзик-холлов, о Черчилле и Чаплине, о... Навстречу моему взгляду сквозь синий туман (печка действительно пошаливала) мелькнуло тающее от восторга лицо слушательницы, но я, не предвидя последствий, продолжал еще и еще; дойдя до описания аудиенции, данной мне императором всероссийским, я поднял глаза... и не увидел графини: кресло ее было пусто. В недоумении я повернулся к провидцу. Он поднялся и, вздохнув, сказал:

– Да, ни щипцов, ни графини: растаяла. И убийца – вы.

Затем, подвернув брюки, он перешагнул через лужу, еще так недавно бывшую графиней. Мне оставалось – тоже. Свя-



занные тайной, мы вышли, плотно прикрыв дверь.

Кривая улица, тусклые фонари, тщетно пробующие дотянуться лучами друг до друга. Мы шли молча меж пустых стен; вдруг на одной из них свежее краской четыре знака: СССР. Спутник протянул руку к буквам:

– Прочтите.

Я прочел, дешифрируя знаки. Он гневно тряхнул волосами:

– Ложь! Слушайте – я открою вам криптограмму, разгаданную избранными: СССР – SSSR – Sancta, Sancta, Sancta, Russia – трижды святая Россия. Аускультируя буквы, слушая, как они дышат, вы подмечаете лишь их выдохи, – мне слышимы и вдохи: истинно, истинно говорят они – трижды святой и единой: Богу подобной.

И кривая улица повела нас дальше. Дойдя до перекрестка, спутник вдруг круто остановился:

– Дальше мне нельзя.

– Почему?

– Тут начинается мостовая из булыжника, – глухо уронил пророк, – людям моей профессии лучше подальше от камней.

Оставив неподвижную фигуру спутника у края асфальтной ленты, я зашагал по булыжникам: в роду Мюнхгаузенов нет, слава богу, пророков.

Рядом со мной шагала мысль: два миллиона спин, спуды, жизнь, разгороженная страхом доносов и чрезвычайностей,

подымешь глаза к глазам, а навстречу в упор дула, сплошное dos a dos.<sup>13</sup> И опыт подтвердил мою мысль во всей ее мрачности: увидев как-то человека, быстро идущего в сторону от жилья, я остановил его вопросом:

– Куда?

В ответ я услышал:

– До ветру.

Эти исполненные горькой лирики слова на всю жизнь врезались мне в память: бедный, одинокий человек, – подумал я вслед уединяющемуся, – у него нет ни друга, ни возлюбленной, кому бы он мог открыться, только осталось – к вольному ветру! Два миллиона спин; спуды-спуды-спуды.

---

<sup>13</sup> Спина к спине (*лат.*).

Лектор сделал паузу: кадык нырнул в воротниковую щель и отдышал. Зато кнопка звонка, зашевелившись, топнула раз и другой – вспыхнул экран. По залу точно ветром пронесло испуганное «ах», и десятки людей, натываясь в темноте друг на друга, бросились к порогам.

– Свет, – крикнул лектор и, когда вновь зажглись лампы, – займите ваши места, я продолжаю. Диапозитив, так испугавший вас, леди и... джентльмены, казалось бы, заслуживает иных эмоций: перед нами вспыхнула и погасла секундная жизнь существа, олицетворяющего собой идеал социальной справедливости, каждая часть тела которого строго соответствует по величине своей ценности. Другими словами, вы видели так называемого статистического человека, портрет которого уже известен тем, кто имел дело со страхованием рабочих. Телосложение статистического человека таково: каждый орган прямо пропорционален по величине размеру суммы, которая выплачивается застрахованному в случае потери этого органа: таким образом, глаза у статистического человека, как вы, вероятно, успели это заметить (орган, который у нас с вами значительно меньше, скажем, ягодиц, что несправедливо, потому что ценность его для работы гораздо больше), глаза его выползают из-под растянутых век огромными мячами, левая рука еле достает до бедер, а пра-

вая волочится пальцами по земле, ну и так далее, и так далее. Признаюсь, что, когда я в первый раз наткнулся зрачками на выпяченные глазные яблоки справедливо телосложенного, я был близок к тому, чтоб удивиться. Но помимо Горациевой максимы «ничему не удивляйся» у меня есть правило и собственного изготовления: «удивляй ничем». Итак, мы встретились с справедливо телосложенным на одной из скамей московского бульвара. Мимо сновали мальчишки с облизанными ирисами. Чистильщики сапог охотились за грязными голенищами. Лицо случайного соседа, которого я застал уже сидящим на скамье, было спрятано за газетой. Скользя глазами по бумажной ширме, я сказал:

– А реформисты опять пошли вправо.

– Нулям, если они хотят что-нибудь значить, один путь: вправо.

Газета сложила листы, и тут-то, навстречу моему спрашивающему взгляду, – вытиснувшиеся из орбит гигантизированные глаза. Я невольно отодвинулся, но за мной потянулась саженная длинная рука: большой и указательный, разросшиеся за счет остальных трех, делали ее похожей на клешню. Поймав меня у самого краешка скамьи, клешня стиснула мне пальцы.

– Будем знакомы: наглядное пособие. А вы? От вас как будто тоже, – потянул он вспучившейся ноздрей, – книгой попахивает...

– Да, вам действительно нельзя отказать в наглядности, –

отклонил я вопрос.

– Настолько, – ослабился клешняк, показав разнокалиберье зубов, – что ни одна она «ненаглядным» не назовет.

– Кто знает, – решился я на робкий комплимент, – красоты в мире мало, дурного вкуса много.

– Да, чем хуже, тем лучше: прежде это называли: «предустановленная гармония», *harmonia predestinate*. Но если хотите, чтобы я для вас был пособием, спрашивайте: все цифры от нуля до бесконечности к вашим услугам.

Я вынул записную книжку:

– Сколько было самоубийств за время гражданской войны?

– Ноль случаев.

– Как так?

– А так: прежде чем ты сам себя, а уж тебя *другие*...

Тем временем октябрьский ветер сорвал последние листья с уличных деревьев, и ртуть в термометрах и дни укоротились, крышу и землю прикрыло снегом. Я согревался обычно быстрой ходьбой. Однажды, обгоняя вереницу трамваев, медленно лязгавших по промерзшим рельсам, я заметил, что на передней площадке каждого из них, на выдвинутой скамеечке, рядом с вагоновожатым сидит по одному старцу, сгорбленному бременем лет со снежными хлопьями седины из-под шапки. Я остановился и пропустил мимо себя череду вагонов: всюду рядом с рычагами вагоновожатых лица ветхих стариков. Недоумевая, я обратился к прохожему:

– Кто они?

– Буксы, – буркнул тот и прошагал дальше.

Я тотчас же отправился в библиотеку Исторического музея. Десяток аристократически закрючившихся носов и столько же выпяченных нижних губ еще раз прошли в моем воображении. Я спросил «Бархатную книгу» и стал листать родословия: Берсы есть, Брюсы есть, Буксов нет.

Что бы это могло значить? Размышляя о судьбе затерявшегося в книгах старинного рода Буксов, я снова вышел на улицу – и тут вскоре все разъяснилось: спускаясь по склону одного из семи холмов, на которых разбросалась Москва, я

увидел еще один вагон, который, скрежеща железом о железо, тщетно пробовал взять подъем. Тогда по знаку вагоновожатого ветхий букс спустился с площадки и заковылял впереди вагона вдоль рельса: при каждом шаге старика с него сыпался песок, и трамвай, тоже по-стариковски, кряхтя и дребезжа, пополз по присыпанным песком рельсам вверх.

При такого рода системе тамошние трамваи оказываются удобными лишь для чиновников, при помощи их опаздывающих на службу. Я всего лишь раз доверился этим железным черепахам, но должен признаться, что они чуть-чуть не завезли меня... чрезвычайно далеко. Дело в том, что, спускаясь с остановки, я взял вместо одиннадцатикопеечного билета восьмикопеечный. Контроль уличил меня. Проступок был запротоколирован, дело направлено к расследованию, а затем и дело, и я – в суд. Слушание дела о недоплате трех копеек состоялось в Верховном суде: меня провели меж двух сабель, к скамье подсудимых. Огромная толпа любопытных наполнила зал. Слова «высшая мера» и «смертная казнь» ползали от ртов к ртам.

Свою защиту я построил так: так как мой поступок, рассматриваемый как проступок, есть результат комплекса условных рефлексов, то пусть и наказание будет условным. Суд, отсоветавшись, постановил: признав виновным, расстрелять... из пугачей.

В назначенное для казни утро меня поставили к стене против дюжины дул – и я глазом не успел моргнуть, как грох-

нул залп и меня расстреляли. Сняв шляпу, я извинился за беспокойство и вышел на улицу: теперь я был на положении условного трупа.

Так как расстреливают обычно на рассвете, то улицы были еще пусты, как дорожки кладбища: к тому же это был воскресный день, когда жизнь пробуждается несколько позднее. Я шел в легком возбуждении, чувствуя еще на себе пристальные дула. Город постепенно просыпался. Открывались трактиры и пивные. В горле у меня пересохло. Я толкнул одну из дверей под зелено-желтой вывеской – навстречу запах пива и гомон голосов. Сев у столика, я оглядел кружки и лица, и многое мне показалось странным: никто из посетителей, сидевших уткнувшись в свои кружки, ни с кем не разговаривал, но все непрерывно говорили. Вслушавшись, я стал различать слова, их было меньше, чем говоривших, так как все посетители повторяли, лишь незначительно варьируя, одно и то же национальное ругательство. По мере того как пиво в кружках убывало, красные лица с налитыми глазами свирепели все более и более и, казалось, все поры воздуха забиты отборной руганью. Все лица, все глаза мимо друг друга, никто ни на кого не обижен, и только искусственная пальма нервно вздрагивает остриями под градом несмолкаемой брани. Ничего не понимая, я поманил пальцем официанта и просил разъяснить мне смысл происходящего. Лениво улыбувшись, тот информировал:

– Торговцы.



– Что ж из этого?

– Известно что: шесть дней терпеть от покупателя всякое, – ни товару, ни людям ни дня покоя: щупают, пересчитывают, спросят, переспросят, то не так и это не то, показывай, прячь, мерь, перемеривай и молчи: ну вот, шесть дней и молчат, а на седьмой...

И, смахнув полотенцем гороховую шелуху со столика, официант отошел к прилавку.

Я улыбнулся: значит, эти люди отдавали назад в воздух, пользуясь праздничным перерывом в работе, все то, что вобрали в себя сквозь глаза и уши за долгую рабочую неделю.

Да, я улыбнулся, но, конечно, не грубым ругательствам, звучавшим вокруг меня, а смутному воспоминанию, пробужденному ими: мне вспомнился – вероятно, и вы не забыли о нем – тот удивительный рожок почтальона, в котором, как улитка в раковине, пряталась замерзшая песня, чтобы при случае запеть себя навстречу теплу и весне. Но ругани вообще везет больше, чем песням: увы, в календаре поэта нет воскресений, и если ему удастся иной раз не замерзнуть в пути, то сердце у него все же в морозном ожоге. Так я, условный труп, сидя в пивнушке, размышлял об условных рефлексах.

Сквозь всю залу – от задних рядов к передним, – ныряя и выныривая из-за плеч, пробирался вчетверо сложенный клочок бумаги; достигнув кафедры, он на секунду остановил речь.

– Я получил записку, – заулыбался лектор, взмахнув листком, – чей-то женский почерк спрашивает об общественном положении женщины в Советском Союзе и о ее правах на любовь и брак. Я не предполагал касаться этих вопросов, но если аудитория требует – вот в двух словах: отношение к женщине в бывшей России коренным образом улучшилось – дисгармоническое существо, у которого «волос долог, а ум короток», добилось наконец, чтобы и волос у него был короток.

Что касается до практического изучения вопроса о любви и браке, то мои двести лет отчасти снимают с меня обязанность отчитываться в этом пункте. Правда, желая быть добросовестным до конца и помня, что любопытство может сойти за страсть, я попробовал было затеять легкий флирт с парой прелестных глазок. Познакомились мы так: иду по улице – впереди стройная девушка, ведущая за руку крохотного мальчугана. «Вероятно, бонна», – думаю я – и, нагнав, заглядываю под шляпку. Незнакомка смущенно отворачивается, и в это время шар, красный надувной детский шар, вы-

дернув веревочку из ее пальцев, вверх мимо окон и по скату кровель. Я тотчас же руками и коленями по водосточной трубе, вдогонку за крашеным пузырем. Бегу по грохочущей жести, но внезапным порывом ветра шар перебрасывает на соседнюю кровлю. Пригибаю колени и прыгаю с дома на дом. веревка в моих руках. Отталкиваюсь от выступа кровли и плавно опускаюсь на детском шарике к ногам изумленной незнакомки и развесившего рот мальчугана. Далее все, разумеется, своим естественным порядком: глазки назначили мне свидание, я уже внутренне торжествовал, но глупый случай испортил все. Желая форсировать успех, по пути к глазкам я завернул в магазин. В Москве под одной и той же вывеской продают: живые цветы и конину, кровососные пиявки и мясные консервы и так далее, и так далее. На жестяном прямоугольнике, под который я шагнул, было проставлено черным по синему: Кондитерские изделия и Гроба. Я просил отпустить мне коробку конфет побольше, но, очевидно, ткнул пальцем не совсем туда. Мне вручили большую коробку продолговатой формы, изящно обернутую в бумагу и перевязанную розовой ленточкой. С бьющимся сердцем стучался я у дверей прелестницы. Увидев подарок, глазки засияли – все шло как нельзя лучше. Чувствуя себя на полпути от взглядов к поцелуям, я сдернул с коробки ленточку, девушка с улыбкой сластены развернула бумагу, и мы оба откачнулись к спинке дивана: из бумажного вороха предстал маленький синий в белом обводе детский гробок. Поезд счастья,

свистнув, промчался мимо. О, как круты и узки эти проклятые московские лестницы!

Да, не боюсь быть откровенным, скажу, что людям с фантазией вообще нечего делать в любви: ведь настоящий шахматист умеет играть, не глядя на доску; и если уж любить, то лучше не глядя на женщину. Ведь подумать! Кто пользуется успехом у дам? Я до сих пор не могу забыть прыщеватое лицо одного архивариуса из Ганновера, который, имея всю жизнь дело с тесемками архивных папок, научился так быстро развязывать их, что, транспонируя пальцевую технику, сделался, по его уверению, неотразим: раньше чем мне успеют сказать «да» или «нет», все тесемки уже развязаны, — хвастал архивариус, и я склонен думать, что не все в его словах было хвастовством.

Так или иначе, в дальнейшем отказавшись от практики, я решил ограничиться теоретическим ознакомлением с проблемой. Кипы советской беллетристики привели меня к чрезвычайно отрадным выводам и прогнозу: в то время как газеты твердят о непримиримой ненависти класса к классу, беллетристика их не признает никакой иной любви, кроме как любви чекиста к прекрасной белогвардейке, красной партизанки к белому офицеру, рабочего к аристократке и детитулированного князя или графа к простой черноземной крестьянке. Таким образом, доверившись старым реалистическим традициям русской беллетристики, мы можем смело ждать, что все вбитое молотом будет срезано серпом... лу-

ны: рано или поздно соловей пересвистит фабричную сирену. Так было, так будет: антитезисы всегда будут волочиться за тезами, но стоит им пожениться, и друг дома синтезис уж тут как тут.

Сейчас еще мнения по этому вопросу как бы во взвешенном состоянии и не успели осесть и закрепиться: одни требуют применить лозунг «все на улицу» и к любви, другие с боем отстаивают нетушимость семейного очага. Тициановские *Amor profana* и *Amor celeste*,<sup>14</sup> изображенные мирно сидящими по обе стороны колодца, взяли друг друга за волосы и пробуют столкнуть одна другую в колодец.

Не пускаясь в область догадок, все же надо констатировать великий почин в деле переустройства любви, «почин дороже денег» – как сказала одна девушка, за пять минут до того бывшая невинной, когда ей не уплатили условленной суммы. Я не верю, чтобы законы, придумываемые юристами, могли бороться с законами природы. Еще великий методолог Фрэнсис Бэкон определял эксперимент так: «Мы лишь увеличиваем или уменьшаем расстояние между телами, – остальное делает природа». Если принять во внимание, что жилищные условия страны, из которой я возвратился, не допускают дальнейшего уменьшения расстояний, то... разрешите мне вернуться к докладу.

---

<sup>14</sup> Любовь земная и любовь небесная (*итал.*).

Восстановление хозяйства СССР началось медленно, с неприметностей, точно подражая их северной весне, которая с трудом проталкивает почки сквозь изледенелую голую кожу ветвей. Если память мне не изменяет, началось с бревен, которые люди начали вынимать из глаз друг друга. Раньше они не хотели замечать даже сучков в глазу, но нужда делает нас зоркими: вскоре запас бревен, вытащенных сквозь зрачки наружу, был достаточен, чтоб приступить к постройкам; на окраинах города, то здесь, то там, стали появляться небольшие бревенчатые домики, образовались жилищные кооперативы, и дело, в общем, пошло на лад.

Было приступлено к посадке деревьев на бульварах (от старых торчали лишь пни): при этом применялся простой, но остроумный способ ускоренного их взращивания – к комлю вкопанного в землю деревца привязывался канат; канат перебрасывали через блок и тянули дерево кверху, пока оно не вытягивалось до довоенной высоты. Таким образом, в две-три недели голые бульвары покрылись тенистыми деревьями, вернувшими улице ее прежний благоустроенный вид.

Множество плакатов, расклеенных по всем стенам и заборам, наставляли прохожих практическими советами, как, например: «так как рыба портится с головы, то ешь ее с хвоста» или «если хочешь сбережь подметки, ходи на руках».

Всего не упомнишь. С плакатами состязались театральные афиши, анонсировавшие грандиозные постановки и народные зрелища. Увлеченный этой волной, я не мог оставаться безучастным зрителем и предложил кое-какие проекты и схемы: так, я, консультируя одному московскому режиссеру, посоветовал ему поставить гоголевского «Ревизора», так сказать, в моих масштабах, по-мюнхгаузеновски, перевернув все дыбом, начиная с заглавия. Пьеса, как мы ее спроектировали, должна была называться «Тридцать тысяч курьеров»: центр действия перемещался от индивидуума к массам; героями пьесы оказывались бедные труженики, служащие в курьерах у жестокого эксплуататора петербургского сановника Хлестакова; он загонял их, пакеты сыплются на курьеров дождем, пока те, сорганизовавшись, не решаются забастовать и перестать носить пакеты. Тем временем у Хлестакова роман с прекрасной... не помню, как там у них – «городничихой» или «огородничихой»: одним словом, Хлестаков посылает ей письмо с первым курьером, назначая свидание вечером на огороде (у русских это принято); но забастовавший курьер не относит письмо по адресу; Хлестаков, прождав всю ночь на огороде, раздосадованный, возвращается в Департамент и посылает второе письмо такого же содержания и по тому же адресу со вторым курьером; результат тот же – и второй, и третий, и тысячный, и тысячепервый не выполняют поручения. Хлестаков три года кряду ходит безрезультатно по ночам на огород, все еще не теряя надеж-

ды покорить сердце неприступной красавицы; он постарел и похудел и все шлет новых и новых курьеров: 1450, 1451, 2000-й. Эпизоды следуют за эпизодами. Опытный волокита не терпит волокиты в любви. Он забросил все свои дела и пишет каждый день уже не по одному, а по десяти, по двадцати, по сто писем, не зная, что все их относят в стачечный комитет. Тем временем и огородничиха, которая вовсе не неприступна, годы и годы ждет хотя бы строчки от избранника; огород ее увяз и зарос чертополохами. И вот среди забастовавших находится штрейкбрехер: это как раз последний тридцатитысячный курьер, который, не выдержав напряжения стачки, относит письмо по адресу.

После этого события с быстротой падающего камня в катастрофу Хлестаков спешит к огородничихе: наконец-то! Но и стачечный комитет не дремлет: штрейкбрехера выследили, но письмо номер тридцать тысяч уже ушло из рук забастовщиков. Тогда они вскрывают двадцать девять тысяч девятьсот девяносто девять недоставленных. Вы представляете эффект этой сцены, когда тридцать тысяч разорванных конвертов летят в воздух, падая белыми квадратами на головы зрителям. Хор гневных голосов – здесь мы прибегли к коллективной декламации – читает тридцать тысяч почти идентичных текстов, по залу, колебля стены и потолок, гремит: «приди на огород». И тридцать тысяч восставших стройными рядами идут на огород, чтобы расправиться с сановником-соблазнителем. Парочка, шептавшаяся у плетня, пробу-



ет бежать, но со всех сторон курьеры – курьеры – курьеры. Ночь стала бела, как день, от тридцати тысяч белых листков, протянутых к глазам сановника. Жизнь его на волоске. Самоотверженная огородничиха кричит, что готова отдать себя всем тридцати тысячам, лишь бы спасти единственного. Курьеры смущены и готовы спрятаться внутрь своих конвертов. Тогда раскаявшийся Хлестаков всенародно признается, что он вовсе не сановник, а свой брат – титулярный советник, такой же рабочий человек, как и все. Примирение. В руках у тридцати тысяч заступы; под звуки народной песни «Всякому овощу свое время» заступы ударяют о землю, взрыхляя заросший чертополохами огород. Алое сияние зари. Отерши трудовой пот со лба, Хлестаков протягивает руку навстречу грядущему дню: «пелена упала с моих глаз». Вслед за пеленой падает и занавес. Каково? А?

Начались уже репетиции, но тут мы наткнулись на неожиданное препятствие: на роли тридцати тысяч были ангажированы из ближайших к Москве округов две дивизии, но власти, вероятно, боясь военного переворота, воспротивились введению такого количества войска в столицу. Вскоре я уехал, прося режиссера, в случае если постановка все-таки когда-нибудь наладится, не раскрывать на афише моего инкогнито. Я думаю, он не нарушит обещания.

В бытность мою в Москве я старался не пропускать ни одной научной лекции. Общее экономическое оживление отразилось самым благоприятным образом на темпе научных

работ и изысканий в стране. С вашего разрешения, леди и джентльмены, я позволю себе сконспектировать содержание двух последних лекций, на которых мне удалось присутствовать.

Первая была посвящена вопросу о прарифме: лектор, почтенный академик, посвятивший себя изучению славянских корнесловий, задался вопросом о первой рифме, прозвучавшей на старорусском языке. Многолетняя работа привела его к IX в. нашей эры: оказывалось, что изобретателем рифмы был Владимир Святой, прорифмовавший слова – «быти» и «пити». От этой прарифмы, – доказывал красноречивый докладчик, – и пошла, постепенно усложняясь, вся русская версификация; но отнимите у нее «пити», и ей не с чем будет рифмовать своего «быти», непоколебленная база сделает шаткими и все надстройки, и домик из книг немногим устойчивее карточного. В заключение лектор предлагал освежить терминологию, классифицируя поэзию не на лирическую и эпическую, как это делали прежде, а на самогонную и ректифицированную.

Вторая лекция, входившая в цикл чтений, организованых Институтом нивелирования психик, привлекла меня уже самим своим названием: «По обе стороны пробора». Маститый физиолог демонстрировал работы Института по нивелированию в области электрификации мышления; оказывается, группе научных деятелей Института удалось доказать, что нервные токи, возникающие в мозгу, подобно элек-

трическим токам, распространяются лишь по поверхности мозговых полушарий, являющихся полюсами электромышления. Затем уже было делом чисто технических усилий поднять мышление еще на два-три сантиметра кверху, локализовав его на поверхности черепной коробки; пробор, проведенный от лба к затылку, расчесывал мыслительные процессы налево и направо, удачно имитируя как бы спроектированные на сферическую поверхность полушария мозга; нечего, конечно, подробно объяснять, что волосы заменяли собой в этом смелом опыте провода, радировавшие мысль в пространстве.

После сжатого теоретического сообщения ученый приступил к демонстрациям: на помост ввели человека с глухим латунным колпаком на голове, надвинутым по самые уши. Колпак сняли, и мы все увидели аккуратный прямой пробор и гладкие, будто вутюженные в череп – справа налево и слева направо, – волосы. Экспериментатор, взяв в руки стеклянную палочку, придвинул ее к левому полушарию испытуемого:

– Идея – «государство» локализуется у данного субъекта вот тут, на острие волоска влево от пробора. Пункт отмечен красной крапиной: близоруких прошу подойти и убедиться. Теперь внимание: нажимаю «государство».

Стеклянное острие ткнулось в крапину, через пробор справа налево метнулась искра, и челюсти объекта, разжавшись, произнесли: «Государство есть организованное наси-

лие...» Рука со стеклянной палочкой отдернулась: челюсти, ляскнув зубами о зубы, сомкнулись. Ученый сделал знак ассистенту:

– Перечешите пробор влево. Вот так: теперь вы видите, что красная точка переместилась на правую сторону от пробора. Контакт.

И снова – стекло тычком в точку, искра слева направо, челюсти врозь и: «Государство есть необходимый этап на пути к...»

– Остальное оставим за зубами, – взмахнул палочкой экспериментатор.

Челюсти сомкнулись, и на место отреагировавшего ввели другого. Этот имел взъерошенный и непокорный вид; четверо институтских сторожей с трудом водворили его на эстраде, из поднятых торчмя волос с сухим треском сыпались искры, но судорожно стягивающийся рот был заклепан кляпом.

– Включите слова, – распорядился экспериментатор.

Кляп удалили, и хлынули слова, вызвавшие тихий говор среди многоголовой аудитории: «контрреволюция», «белая идеология», «стоцентный буржуй», «революция в опасности», а кто-то, вскочив с места, кричал: «За такое к стенке».

Но ученый протянул руки, утишая волнение:

– Граждане, к порядку. Прошу не прерывать эксперимента. Машинка номер 0.

Ассистент метнулся к инструментарию, – и обыкновенная парикмахерская машинка (лишь с несколько удлиненными ручками в стеклянных чехлах) заскользила по черепу экспериментируемого, поспешно сбривая ему мышление. И по мере того как железные зубья, оголяя череп, снова и снова перекатывались через темя, речь контрреволюционера теряла слова, бледнела и спутывалась. Машинка кончила свое дело, и сторож выметал веником остриженное мирозерцание. Руки испытуемого обвисли, как плети, но язык уныло, как деревянная колотушка, подвешиваемая корове к шее, продолжал отстукивать, повторяя вновь и вновь всего лишь два слова: «свобода слова – слово свобода – слово свободы – свобо...»

Экспериментатор с озабоченным видом подошел к объекту и внимательно оглядел оголенный череп. Вдруг лицо ученого прояснилось, и он протянул широкопалую руку к темени пациента.

– Тут вот еще два волоска, – осклабился он в сторону аудитории и, притиснув два квадратных ногтя к невидимому чему-то, дернул, – теперь чисто. Ни гугу!

Ученый дунул себе на пальцы и отшагнул к кафедре. Сторож, кончив уборку, собирался вымести психический сор за порог. В это-то время где-то в задних рядах послышался тихий звук: не то зевок, не то глухой спазм. И, выждав долгую паузу, ученый строго обвел очками притихшие ряды и сказал:

– Спокойствие. Вспомним русскую пословицу: «Снявши волосы, по голове не плачут».

Кто не бывал на первомайской демонстрации в Москве, тот не знает, что такое народное празднество. Навстречу маю распахнуты створы всех окон, в весенних лужах, спутавшись с отражениями белых облаков, дрожат красные отсветы знамен; из улиц в улицу стучат барабаны, слышится твердый марш колонн, миллиононогие потоки текут на Красную площадь, чтобы людским водопадам свергнуться вниз к расколовшейся из льда такой же весенне-стремительной, выхлынувшей за свои берега Москве-реке. Раструбы труб бросают в воздух Интернационал, красные флаги шевелятся в ветре, как гигантские петушиные гребни, а трехгранные клювы штыков, задравшись в небо, колышутся перед трибунами. Затиснутый в толпе, я долго наблюдал этот кричащий свои боевые крики, веющий алым оперением стягов и лент, с трехгранью гигантского клюва, готового склевать все звезды неба, как мелкую крупу, с тем чтобы бросить в него горсти алых пятиконечий, – этот исполненный великого гнева от полюса к полюсу простерший готовые к взлету крылья, – праздник, который вдруг разбудил во мне одну легенду, незадолго до того отысканную мною в одном из московских книгохранилищ, но тотчас же забытую в быстрой смене дней и дел. Легенда, стал припоминать я, рассказывала об одном французе, который еще в 1761 году, приехав в Москву

за тем, чтобы... но в это время медные трубы в тысячный раз закричали Интернационал, толпа качнулась, кто-то наступил мне на мозоль, и я потерял нить.

Только к вечеру праздник стал спадать, как вешний цвет на ветру. Стены еще горели зигзагами огней, но толпы поредели; потом окна сомкнули стеклянные веки, огни погасли, и только я один шагал по обезлюдевшей улице, стараясь вспомнить в деталях полузабытую легенду: постепенно в память вернулось все до заглавного листа с его четким: «Черт на дрожках».

В 1761 году, рассказывала легенда, некий француз приехал издалека в Москву, с целью разыскать одного чрезвычайно нужного ему человека, но в пути он его потерял и лишь смутно помнил, что разыскиваемое лицо живет у Никола Малого на Петуховых Ногах. Прибыв в Москву, француз нанял извозчика и велел ему ехать к Николе на Петуховых Ногах. Извозчик, покачав головой, сказал, что не знает такого: есть Никола Мокрый, Никола Красный Звон, Никола на Трех горах, но Никола на Петуховых Ногах... Тогда приезжий велел ему ехать от перекрестка к перекрестку, решив спрашивать у прохожих. Возница взмахнул кнутом и тронул. Прохожие, повстречавшиеся с экипажем, вспоминали: кто Николу Постника, кто Николу в Пыжах, другие Николу на Курьих Ножках или Николу в Плотниках. Но Никола на Петуховых Ногах никто не знал. И колеса вертелись дальше, ища затерявшийся храм. Подошла ночь, устали и



лошадь, и возница, и кнут, – но настойчивый француз сказал, что не слезет с сиденья, пока не отыщутся Петуховые Ноги. Возница дернул вожжи, и обода рыдвана снова застучали по ночным улицам Москвы. В то время город рано уходил ко сну, и лишь два-три прохожих, остановленных голосом, выкатившимся из темноты, поторопились ответить «не знаю» и поскорее скрыться в домах. Зажглось солнце, погасло, вновь вспыхнуло и вновь кануло в тьму, а поиски все продолжались. Усталая кляча, спотыкаясь, еле тащила рыдван, возница сонно качался на козлах, но упрямый приезжий, коверкая чужие ему слова, требовал – дальше и дальше. Теперь они уже останавливались у каждой церкви, и, если была ночь, возница шел и стучался в соседние окна. Разбуженные люди высовывались навстречу вопросу о Николе на Петуховых Ногах, но окна тотчас же захлопывались, бросив короткое – «нет». И спицы снова кружили вокруг оси в поисках потерянного храма. Однажды сторож церкви Миколы Малого, что на Курьих Ножках, поднявшей свои кресты над путаницей переулков, пересеченных двумя Молчановками, услышал костистый стук в окно своей сторожки. Поднявшись с лежанки, он увидел (ночь была лунной) обросшее космами волос лицо, прилипшее к стеклу снаружи. «Кто там? – воскликнул сторож. – Чего надо?» И чей-то голос за дверью коверканно, но внятно, отвечал: «Пти Никола на Петуховый Ног». Сторож закрестился, испуганно шепча молитвы, а терпеливый француз, вернувшись в свой рыдван,

продолжал поиски. Вскоре вокруг странного приезжего стала разрастаться легенда: люди, которым повстречался таинственный рыдван, рассказывали о черте на дрожках, который разъезжает по ночным улицам Москвы, ища подземный храм сатаны, у которого левая пятка, как известно, петушья.

Теперь уже прохожие, заслышав стук таинственного экипажа, бросались в боковые переулки, не дожидаясь ни встречи, ни вопроса. И черт на дрожках тщетно кружил от перекрестков к перекресткам, нигде не встречая ни единой живой души.

Отдавшись образам старой легенды, я шел по отшумевшим улицам, наступая на тени и лунные пятна, пока случай не завел меня в узкий и длинный тупик. Я повернулся, чтобы выбраться из каменного мешка, но в это время, там, за поворотом, вдруг тихий, но четкий близящийся стук колес. Я участил шаги, пробуя опередить. Нет, было уже поздно: ветхий рыдван перегораживал мне выход из тупика. Да, это были они: захлестанная кляча, а меж ее дышащих ребер лунные лучи, протянувшие по мостовой скелетное плетение теней; возница с вожжами в костяшках рук и смутный силуэт седока, пытливо вглядывающегося в перспективу улиц. Я прижался спиной к стене, стараясь укрыться за выступом дома. Но меня уже заметили: низкий дорожный цилиндр, каких уже давно не носят, приподнялся над головой седока, и мертвые губы зашевелились. Но я, опережая вопрос, громко бросил в смутное картавое бормотание:

– Послушайте, вы, видение, где ваше видение? Будет ломать легенду. Вы ищете храм на Петушиных Ногах. Но их тут тысячи: стучите в любую дверь, и она введет вас. Разве не треплются красные петушьи гребни над кровлями их домов, разве не проблистали поднятые в небо стальные клювы. Каждый дом (если верить их сказкам), каждая идея (если верить их книгам) на петушьих ногах. Попробуйте троньте, – и все это, топорща перья, бросится на нас и расклюет, со всеми Круппами, как крупу. А вознице вашему я б посоветовал немедля в профсоюз: пусть взыщут с вас по такое за сто пятьдесят два года. Эксплуататор, а еще черт!

И, рассердившись, я без церемонии прошагал сквозь призрак. События дня утомили меня до предела. Сон давно уже дожидался моего возвращения. Поутру я с трудом распутал клубок из яви, сна и легенд.

То, что я сообщил здесь уважаемому собранию, – лишь так, несколько мелких пенни, вытряхнутых сквозь рот, как сквозь отверстие туго набитой копилки. Вся Россия вот здесь, под этим теменем. И мне понадобится по меньшей мере дюжина томов, чтобы уместить в них весь опыт моего путешествия в Страну Советов.

Так или иначе, почувствовав, что копилка полна, я решил, что пора подумать о возвращении. Получить заграничный паспорт в СССР удастся весьма немногим. Первый же чиновник, к которому я обратился, отвечал в тоне надписей над входом в Дантов ад:

– Ни живой души.

Но я не смутился:

– Помилуйте, какая ж я живая душа, когда меня условно расстреляли?

И, выправив нужные удостоверения, я двинул дело с мертвой точки. После нескольких недель хлопот в кармане у меня лежали билет и пропуск.

Настал последний день. Поезд мой отходил в шесть с минутами. На небе сияло полуденное июльское солнце: в моем распоряжении было несколько часов, – и я решил их отдать прощанию с Москвой. Неторопливым шагом дошел я до одного из мостов, переброшенных через реку, и, свесившись

с перил, в последний раз наблюдал волны и пену, уносимые быстрым, как время, течением. С илистых берегов доносилось протяжное кваканье лягушек, в последний раз напоминавшее мне предание о том, как строился этот удивительный город (начало предания вы можете прочесть у известного русского историка Забелина) в далеком прошлом, когда вместо домов тут были кочки, вместо площадей затянутые тиной болота, вместо людей лягушки, пришел неведомо откуда царевич Мос и посватался неведомо зачем к царевне Ква. Построили среди болот и топей брачные хоромы и отпраздновали свадьбу. Но как только Мос и Ква остались одни, слышит Ква, кто-то зовет ее по имени. «Пойди, – говорит она мужу, которому бы к жене, а не от жены: – Посмотри, кто меня зовет?» Досадно Мосу, но вышел, смотрит – на кочке жаба и – ква-ква. Прогнал Мос жабу, но только вернулся к жене, а уж с другой кочки опять ее кто-то по имени. И снова жена: «Пойди – узнай». Обозлился Мос и велел построить брачные хоромы в другом месте. Но и там, чуть остался с молодой женой, отовсюду и со всех кочек зовут царицу Ква по имени, от мужа отрывают. Заплакала царица Ква и просит построить дом в третьем месте. А там и в четвертом, и в пятом, и в тридцать третьем. Стучат топоры, растут дом за домом и дом к дому; и где были кочки – там кровля, где озера – там площади; где топи и болота с квакающими лягушками – там большой город с людьми, говорящими на чистом акающем диалекте чистейшего русского языка. И теперь уже

никто не мог помешать тому, чтоб Мос и Ква наконец соединились, даже именами: «Москва».

Оторвавшись от перил, я тем же неторопливым шагом направился по знакомым улицам. Вот порывом ветра опрокинуло мальчишке-продавцу его лоток с мармеладом; мальчишка ползает по земле, собирает просыпавшиеся мармеладины и, всполоснув их в ближайшей лужице, аккуратно раскладывает на лотке. Иду дальше. Мимо глаз доски знакомого забора: на верхней, грея свои рыжие буквы на солнце, протянулись слова: *на соплях повис*. На секунду я задерживаю шаги, пробуя образно представить смысл написанного. И опять, с чувством резињяции, мимо и дальше.

Вот, спиной в афишный столб, с гармоникой меж прыгающих локтей, пьяный. «Эх, яблочко, – поет он, – сбоку листики, полюбил бы тебя – боюсь мистики». Но афишный столб, внезапно повернувшись, роняет и певца и песню на землю. Дальше.

Навстречу плывет громадная площадь: в центре площади пятью крестами в небо – собор; рядом с громадой собора высокое мраморное подножие памятника, очевидно, сброшенного революцией. Должен признаться, что я никогда не мог пройти мимо пустого подножия пьедестала. Неполнота, незавершенность всегда меня раздражает. Так и теперь: я быстро вскарабкался на мрамор постамента и принял спокойную, исполненную достоинства и монументальности позу. Внизу проходил уличный фотограф. Стоило бросить се-

ребряную монету, и голова его тотчас же нырнула под черное сукно. Стоя с рукой, протянутой к падающему солнцу, я мог видеть, как вокруг памятника постепенно накапливалась толпа, наблюдавшая, с возгласами одобрения, эффектную съемку. Впрочем, экран скажет короче и убедительнее. Вот – (гром аплодисментов приветствовал табло, выпрыгнувшее из волшебного фонаря на плоскость экрана. Докладчик, откланявшись, попросил, движением руки, тишины).

Я не хотел бы, леди и джентльмены, чтобы это было истолковано как намек. Но, возвращаясь к рассказу, должен сообщить, что москвичи, заполнившие площадь вокруг памятника, отнеслись ко мне так же, как и вы, заполняющие этот зал: рукоплескания, крики «возвращайтесь», «пока» и «на кого вы нас покидаете» долго не давали мне сойти с постамента; если присоединить к этому и то обстоятельство, что фотограф сделал очень долгую выдержку, то для вас не покажется удивительным, что я опоздал к поезду: он ушел перед самым моим носом, оставив меня одного с билетом в руках, на пустой платформе.

Положение получалось чрезвычайно серьезное. Дело в том, что поезда к границе отправляются из Москвы (точнее, отправлялись в то время, о котором я рассказываю) не чаще одного раза в месяц. Это разрушало все мои планы, мало того, лишало меня возможности сдержать обещания, данные моим контрагентам на Западе, превращая меня, барона Мюнхгаузена (странно даже подумать и выговорить), – в

лжеца и обманщика, изменяющего своему слову.

Но делать было нечего. Я вернулся в город и всю ночь просидел на одной из скамей Страстного бульвара, обдумывая, как быть. Тем временем время растягивало секунды в минуты, минуты в часы: дата, вштемпелеванная в мой билет, сделалась вчерашней, и тут вдруг мысль: а не попробовать ли мне разыскать вчерашний день?

Я тотчас же отправился в редакцию газеты и сунул в окошечко приемщика объявлений текст: «УТЕРЯН вчерашний день. Нашедшего просят за приличное вознаграждение...» ну и так далее.

– Хорошо, дня через два пустим.

– Позвольте, – загорячился я, – но через два дня это уже будет не вчерашний, а – как это вы называете?

– Третьевый, – ответили из-за оконца, а стоявший за моей спиной в очереди посоветовал:

– Четвертевый, пусть пишут четвертевый, вернее, с запасом, раньше не напечатают.

– Но как же так? – заметался я меж двух советов. – Мне нужен не третьевый и не девятеревый, а вчерашний день, я же говорю вам чистым русским...

– А если вам непременно вчерашний, – возразило окошечко, – то нужно было заявить об этом третьего дня: порядка не знаете.

– Но как же... – вскинулся было я, но, поняв, что лишь понапрасну растрачиваю время, решил действовать иным пу-



тем. Перебирая в памяти имена учреждений и лиц, куда бы я мог обратиться, я вспомнил об «Ассоциации по изучению прошлогоднего снега». Звонок по телефону, короткий разговор, и извозчик везет меня в Архив Ассоциации. Пролетка пересекает город по диагонали, мы минуем заставу; за городом, в стороне от пыльного летнего шоссе, красная кровля Архива, полуспрятанного за высоким обводом глухой каменной стены. Подъезжаем к воротам. Тяну за ржавую петлю звонка. В ответ длинная мертвая тишина. Еще раз за петлю. За глухой стеной медленно близящийся шаг – и странно: земля под ногами похрустывает и скрипит (что такое?). Наконец, ржавый голос ключа, и кованная в медь калитка приоткрывается. Я в изумлении: июльский снег. Да-да, за оградой, внутри обвода высокой стены, замешкавшаяся на несколько месяцев зима; на голых ветвях ледяные сосули и повсюду на грядках старого заглохшего сада, окружившего ветхое здание Архива, сугробы и хрупкий белый наст. Слуга, сгорбленный морщинистый старик, медленно переставляя ноги, ведет меня по аллее к крыльцу, а в воздухе мягкие белые хлопья, неслышно приникающие к земле. Я не спрашиваю – я знаю: это падает прошлогодний снег.

Заведующий Отделом Вчерашних Дней, лысый господин с глазами, заштопанными синим стеклом, предупрежденный о моем посещении, встретил меня очень любезно.

– Бывает, бывает, – улыбнулся он мне, – один упустит мгновение, другой, глядь, жизнь. А если к нам и: *diem*

perdidi,<sup>15</sup> то мы, как библейская Руфь, подбирающая оброненные серпом колосья, собираем отжатое и отжитое. У нас ничего не пропадет: ни единой оттиканной секунды. Руфь собирает Русь, хе. Вот – получите вам вчерашний день.

И ко мне пододвинулась аккуратная занумерованная коробочка паутинного цвета. Я открыл крышку: под ней, замотанный в вату, наежившись щетиной из шевелящихся секундных стрелок, сонно ворочался мой вчерашний день. Я не знал, как благодарить.

Синие очки предложили мне осмотреть архив Руфь-Руси, но я, боясь еще раз потерять потерянное, извинился и поспешил к выходу. Хлопья прошлогоднего снега провожали меня до калитки. Весь белый, я вышел за ограду, и летнее солнце вмиг растопило снежный налет и высушило одежду. Я прыгнул в пролетку.

– Вокзал.

Извозчик дернул вожжи, и мы поехали. Но мне как-то не верилось в реальность происшедшего, и хотя время незримо, но глаза мои искали доказательств. И вдруг, взглянув на уличный циферблат, я увидел, что часовая стрелка пятится по кругу назад: с шести на пять, с пяти на четыре и так далее. Навстречу бежал газетчик:

– Экстренный выпуск! Последние известия!

Тронув спину извозчика, я остановил его, чтобы обменять пятак на газету. С бьющимся сердцем развернул я вчетверо

---

<sup>15</sup> Потерянный день (*лат.*).

сложенный лист: слава богу – под заголовком ясно оттиснутая вчерашняя дата. И мы покатили дальше.

Теперь я спокойно разглядывал убегающую из-под колес улицу. Вот промелькнул вчерашний мальчишка: вчерашний ветер опрокинул ему лоток с мармеладом, и бедняга снова, обмывая в луже мармеладины, раскладывал их на доске. Вот и пьяный, прислонившийся спиной к афишному столбу, с гармонией меж прыгающих локтей: «Эх, яблочко, с боку листики»... и я знаю, что афишный столб сейчас повернется и уронит певца и песню в грязь. И я отворачиваюсь, – в сущности, «вечное возвращение», о котором теоретизировал Ницше, если и не заслуживает критики, то заслуживает зевков.

Наконец мы добрались до вокзала. Я снова на платформе. Подают поезд; он медленно ползет задом наперед и вкатывается в вокзал. Для меня, как для условного трупа, особый вагон: это товарная, сбитая из красных досок клеть на четырех колесах; поверх двери мелом: «для скр. прт. гр.», над дверью зеленая ветка хвои. Мрачновато, но делать нечего: даю себя погрузить. Дверь, накатываясь по шарнирам, задвигается. Сидя в полной темноте, я слышу, как запломбируют снаружи вагон.

Затем... затем два дня пути в темной клетке – время достаточное, чтобы обдумать все виденное и слышанное, ответить шелуху от зерна и сделать последние выводы. Но все это с вашего разрешения, леди и джентльмены, мы оставим пока нераспломбированным. Я кончил.

Барон Мюнхгаузен поклонился собранию и сделал шаг к ступенькам, сводящим с кафедры. Но тут его застигла овация. Стены Лондонского Королевского Общества еще никогда не слышали такого грохота и рева: тысячи ладоней били друг о друга и все рты кричали одно лишь имя: Мюнхгаузен.

# Глава VI

## Теория невероятностей

Барон был человеком достаточно тренированным в славе: поскольку слава из слов, он умел ее полуслушать, покорно подставляя себя под стеклянные глаза объективов, полуулыбался, полуотвечал, протягивал то три пальца, то четыре, то два, не давая руке распухнуть от рукопожатий. Слуга в коттедже сумасшедших бобов знал, что каждые два часа надо менять корзину для рваной бумаги, так как письма, теле- и радиogramмы дожидили с упорством лондонского дождя.

Но даже выработанное долгим опытом умение обращаться со славой на этот раз не могло спасти барона Мюнхгаузе-на от некоторого чувства усталости и пресыщения. Каждый день он получал дипломы на звание члена-корреспондента, доктора философии от всевозможных академий и университетов; американское объединение журналистов выбрало его своим шефом; на теле барона, кстати, достаточно длинном, уже не хватало места для орденов, и приходилось их вешать с некоторыми отступлениями от статуса. Испанский король прислал ему художественно выполненный язык из золота, усыпанный бриллиантовыми прыщами, а один из самодержцев всероссийских бронзовую медаль с надписью: «За спасение погибающих».

Был избран Комитет по сбору пожертвований на постройку памятника Иеронимусу Мюнхгаузену; монеты катились отовсюду в фонд Комитета – и вскоре на одной из лондонских площадей состоялась торжественная закладка.

Барону редко удавалось остаться наедине со своей старой трубкой, пишущая машинка тщетно подставляла клавиши под послеобеденные афоризмы: Мюнхгаузен был занят более важной и ответственной работой – лекция его, подхваченная всеми газетами мира, день за днем разрасталась в книгу, над которой он работал, часто отказываясь от сна и пищи. Правда, иному репортеру, проскальзывающему чуть ли не сквозь замочную скважину в дом, изредка удавалось остановить перо Мюнхгаузена. Неизменно вежливый, он поворачивал злое лицо навстречу расшаркивающемуся человеку:

– Десять секунд. Секундомер пошел. Жду: раз – два...

Ошарашенный репортер выбрасывал первый попавшийся вопрос вроде:

– Из каких отделов должна состоять солидно поставленная газета?

И через шестую долю секунды звучал ответ:

– Из двух: официального и официантского. Восемь – девять – десять. Имею честь.

Стоя за порогом, интервьюер читал и перечитывал карандашную строку, не зная, как с ней быть.

Вообще, как это заметили даже завсегда и коттеджа су-

масшедших бобов, характер барона начинал несколько портиться. Мало того, в поведении его обнаружили странности, которых раньше никто в нем не замечал.

Первая странность дала о себе знать в тот достопамятный для Лондона день, когда по главным улицам столицы были пронесены, под гром оркестров и пение клира, на парадных парчовых подушках: старая треуголка, истертый камзол, шпага и косица триумфатора. Шествие, начавшееся от здания ратуши, должно было пройти мимо дома самого Мюнхгаузена и затем повернуть к Вестминстерскому аббатству, под сводами которого, рядом со священнейшими реликвиями старой Англии мюнхгаузену шпагу, камзол и треуголку ждали бессмертие и почетный покой.

Стараниями друзей от Мюнхгаузена удалось скрыть все приготовления к празднеству. Друзья (в том числе епископ Нортумберлендский) наперед предвкушали эффект, который произведет этот грандиозный сюрприз на обязательнейшего и милейшего барона. Но им пришлось жестоко разочароваться: заслышав шум приближающейся процессии и пение клира, барон Мюнхгаузен зашлепал туфлями к окну и выглянул наружу, стараясь понять, в чем дело. Внизу, среди колышущейся толпы, медленно плыли парчовые подушки, а поверх подушек его – что за дьявол – Мюнхгаузеновы: камзол, коса, шпага, треуголка. Радостный рев толпы взмыл навстречу барону, но тот, отступив на шаг, обернулся и увидел неслышно вошедшего в комнату епископа Нортумберленд-

ского.

– Куда? – хрипло спросил барон.

Весь сияя и радостно потирая руки, епископ отвечал:

– К святыням Вестминстера. Поистине не всякий король...

Но тут произошло нечто неожиданное, неприличное и не предвиденное церемониалом празднества. Вдруг побегровев, Мюнхгаузен снял с правой ноги туфлю и швырнул ее в ликующую толпу: описав параболу, туфля шлепнулась где-то меж хоругвей и сверкающей парчи, образовав в толпе, как снаряд, ударивший о землю, широкую воронку из пятящихся людей.

– Может быть, вам нужен и мой ночной горшок?! – заорал барон, перегнувшись через подоконник, в приумолкшую толпу.

Тысячи испуганных лиц поднялись к раскрытому окну лишь затем, чтобы увидеть, как оно с треском захлопнулось. Оконфуженный епископ скользнул за дверь. Распорядители выбивались из сил, восстанавливая нарушенный порядок, и так как хвост шествия, бывший за поворотом улицы, напирал на голову, то процессия по инерции продолжала двигаться, но хор пел нестройно и фальшиво, хоругви суматошно качались из стороны в сторону, празднество потускнело и скислилось.

Вечерние выпуски газет изложили события лавирующим языком, осторожно обходя или замалчивая досадную



непредвиденность. Но барон Мюнхгаузен только начинал ряд странностей, заставивших души лондонцев проделать всю гамму чувств: тоника – восторг, медианта – недоумение, октава – негодование.

Процессия ушла, и Бейсвотер-род опустел, а человек, прогнавший восторг из тысячи голов, шагал из угла в угол, что-то гневно бормоча себе под нос, затем присел к столу и стал вычеркивать абзацы и страницы из своих черновиков. Лишь несколько успокоившись, он приступил ко второй странности: через два часа после водворения реликвий в Вестминстере главный кустод аббатства получил доставленное срочной почтой письмо: письмо, помеченное гербом баронов фон Мюнхгаузенов, в резких и лаконических словах требовало немедленного возврата присвоенного аббатством камзола его законному собственнику. «Пребываю в надежде, – заканчивалось послание, – что Соединенное Королевство Великобритании и обеих Индий не захочет обогащаться, отнимая у бедного человека его носильное платье».

Кустод, до крайности озадаченный, отправился за советом к викарию, викарий рассказал отцу казначею, казначей... одним словом, еще Лондон не успел зажечь своих огней, как одиозные слова, перепрыгнув через зубчатую ограду аббатства, заскользили по телефонным проводам и зашуршали в мембранах, готовясь нырнуть внутрь обмотки трансатлантического кабеля. Атмосфера делалась напряженной. Незадолго до полуночи последовал приказ свыше: согласно

заявления иностранного подданного Мюнхгаузена, лишив реликвию номер (последовала цифра) всех прав и преимуществ, реликвиям присвоенных, возвратить ее названному иностранцу.

Наутро ни один репортер не посмел приблизиться к порогу коттеджа на Бейсвотер-род, если не считать Джима Чильчера, сотрудника третьестепенной газетки, для которого все вообще пороги были высоки до непереступаемости. У Чильчера не было денег на автобус, и поэтому свой утренний маршрут, от Оксфорд-стрит до Москоу-род, он начинал раньше других и проделывал пешком: сегодня, как и всегда, он шагал вдоль длинного выгиба Бейсвотер-род, скользя глазами по решетке Кенсингтонского парка. Голова его, втянутая утренним холодом в плечи, решала математическую задачу: если из пенсов, сберегаемых ежедневно на автобусе, вычесть пенсы на амортизацию расплзающейся обуви, то на какое число дней нужно помножить данную разность, чтобы получилось произведение в двенадцать шиллингов, пятьдесят пенсов, необходимое на покупку новой пары штиблет; получалось нечто вроде знаменитой Ньютоновой задачи о коровах на лугу – коровы неустанно пожирают траву, но трава-то тем временем растет, – и Чильчер так погрузился в разрешение сложной головоломки, что не сразу заметил, как кто-то осторожно придержал его за правый рукав пальто, остановив шаги и цифры. Впрочем, не кто-то: оглянувшись через плечо, Джим Чильчер не увидал ни души, но тем не

менее чьи-то цепкие пальцы не выпускали пуговицы над запястьем руки. Чильчер дернул руку, и вслед за ней потянулась длинная зеленая спираль, не выпускавшая и теперь из своих упругих изгибов попавшей точно в пружинный капкан руки. Журналист поднял глаза кверху, увидел стену, сплошь увитую зелеными кольцами, и понял, что он стоит у коттеджа сумасшедших бобов. В тот же миг двери коттеджа распахнулись и старик-лакей, выглянув наружу, любезно спросил:

– Вы репортер?

– Да-а... Ваши бобы...

– Барон просит, – поклонился слуга, раскрывая шире дверь.

Джим Чильчер был так потрясен приглашением, что и не заметил, что заставило сумасшедший боб расцепить свои кольца. Подгибающиеся ноги подняли его по лестнице холла, но слуга уже распахивал дверь в кабинет барона, приветливо привставшего навстречу растерянному репортеру. Кресло, услужливо накатившееся сзади, подсекло Чильчеру ноги, принудив сесть, а вопрос, ударивший в упор, заставил пальцы репортера запрыгать из кармана в карман в поисках карандаша и бумаги.

– Вы забыли блокнот? – улыбнулся барон. – Не трудитесь искать – вот эта записная книжечка заменит вам его. Не стоит благодарности. Карандаш? Он уже сделал свое: задал вопросы и ответил на них. Ведь вас интересуется, простите – ваше имя... очень приятно, – вас интересуется, мистер Чильчер,

зачем Мюнхгаузену понадобился камзол? Не так ли? В ваших руках автографическое доказательство того, что камзол нужен *не мне*. Вы, вероятно, торопитесь. Я тоже.

Джим Чильчер, выбежавший с чувством радостной оторопи на улицу, не заметил, как озорно шевелились в утреннем ветре длинные зеленые усики бобов, тонкими змеями овивающих коттедж.

Экстренный выпуск рептильной газетки, в которой работал Чильчер, в десять утра стоил пять пенсов; к полудню за него платили шиллинг; к двум часам номер нельзя было достать и за полфунта. Рептилия осведомляла о реликвии – и этого было достаточно, чтобы миллионы глаз потянулись к сенсационному интервью, вывернувшему вопрос о камзоле, так сказать, подкладкой вверх. Выяснилось, что пером Мюнхгаузена водило не желание уколоть британского льва, отнюдь, а решение дать урок великодушия колючей пятиконечной звезде: условный труп проявлял чувство достаточно живой благодарности, жертвуя свой двухсотлетний камзол в пользу Комиссии по улучшению быта ученых СССР. «АРА, – заканчивал интервью барон, – не откажется, я полагаю, переслать мой textile для вручения его беднейшему из русских молодых ученых».

Жест был настолько величественен и христианск в лучшем смысле этого слова, что иные газеты отказывались верить сообщению. Но в руках у Чильчеровой газетки имелся автограф: фотография с него, показавшая раскосый почерк

барона, рассеяла последние сомнения. Капитал славы, который барон, казалось, хотел расшвырять, неожиданно возрос, собрав множество круглых слезинок, льнущих к ресницам, как крохотные нолики к косой черте, обозначающей %%. «Дейли-Мейль» восхищалась недряхлеющим сердцем, отдающим все свои семьдесят два удара в минуту на пользу человечества. «Таймс» писал, что добрейший барон Мюнхгаузен возрождает образ диккенсовского чудака, умеющего и в добрых делах быть эксцентричным, придворный проповедник капеллы Сен-Джемса прочел проповедь о ленте вдовицы, а торжественная «Пел-Мел», ведущая, как известно, – к Букингэмскому дворцу, асфальтным ковром подостлалась под ноги Мюнхгаузену: короче, ему назначалась аудиенция у короля. Но тут-то пришел черед третьей странности, которая... впрочем, по порядку.

Барон Мюнхгаузен и мистер Уилки Доули, сдвинув свои кресла, беседовали в кабинете коттеджа на Бейсвотер-род. За окнами разблистался на редкость солнечный для города туманов день – и даже на раструбе слуховой трубки, выставившейся из уха престарелого ученого, профессора Доули, мерцал веселый блеск:

– Через час вам предстоит предстать... – и Доули попробовал отодвинуть кресло от кресла.

Но пальцы барона не отпустили поручня:

– Час – это три тысячи шестьсот раз проколебавшийся маятник. Вы разрешите поделиться с вами, как с непрека-

емым авторитетом в области математической дисциплины, мистер Уилки, одним моим сомнением, мыслью, качающейся меж двух цифр?

Слуховая трубка пододвинулась ближе к барону, изъявляя готовность слушать. После минутной паузы Мюнхгаузен продолжал:

– Я, конечно, дилетант в математике. Но меня всегда чрезвычайно интересовала разработка и практические выводы так называемой теории вероятностей, которой посвящены многие из ваших глубоких и обстоятельнейших трактатов, достопочтенный мистер Уилки. Мой первый вопрос: теория вероятностей не приводит ли нас к так называемой теории ошибок?

Трубка кивнула раструбом: да.

– Мой вопрос: а что, если теория ошибок, примененная к теории вероятностей, признает ее ошибкой? Я хочу сказать, символическая змея, кусающая себя за хвост, ведь может им и подавиться, не правда ли, и тогда основание издохнет от своего следствия, а теория вероятностей окажется невероятной, если только теория ошибок не окажется ошибочной.

По лбу мистера Доули, как по поверхности воды, в которую бросили камень, побежали морщины:

– Но позвольте. Теорема Бернулли...

– Вот о ней-то я и хочу. Ведь мысль Бернулли можно сформулировать и так: с увеличением количества опытов увеличивается и точность исчисления вероятностей, раз-

ность ( $m/n - p$ ) делается неопределенно малой, то есть по мере того как число исчисляемых событий все больше и больше превышает *единицу*, колебание маятника цифр укорачивается, предполагаемое переходит в достоверное и теория вероятностей получает прочный математический контур и практическое бытие: иначе цифры и факты совпадают. Правильно ли я изложил закон больших чисел?

Мистер Доули пожевал губами:

– Если исключить некоторую странность вашей терминологии, то я бы не стал возражать.

– Прекрасно. Итак, стоит только числу так называемых событий или опытов превысить единицу, появляется Бернулли, теорема нарастания больших чисел и теория вероятностей приводится в действие. Но стоит тому же числу событий чуть сторбиться, сделаться *меньше единицы*, и с такой же необходимостью появляются: Мюнхгаузен, контртеорема, закон несбывшихся событий и недождавшихся ожиданий, колеса вертятся в противоположную сторону и *теория невероятностей* на полном ходу. Вы уронили трубку, сэр: «Вот – прошу вас».

Но старый математик уже стучал своим длинным и черным ушным придатком по ручке кресла, словами по нонсенсу:

– Но учли ли вы, любезнейший мистер Мюнхгаузен, что теория вероятностей оперирует целыми числами, принимая каждое событие за единицу. Вы, как и все дилетанты, бо-

рясь за математические символы, переабстрагируете их, хотите быть математичнее математики: реальная *действительность*, слагающаяся из действий – моих, ваших, чьих хотите, не знает, разумеется, событий, меньших единицы. Мы, реальные люди, в реальном мире или действуем, или не действуем, события или происходят, или не происходят. Подчеркиваю: исчисление вероятностей оперирует лишь целыми числами, единицей и кратным ей.

– В таком случае, – зачеканил Мюнхгаузен в придаток, успевший подобраться к уху собеседника, – в таком случае фактам и цифрам не по пути: им остается раскланяться и разойтись. Вы говорите: «События или происходят, или не происходят». А я утверждаю, события всегда лишь *полу*происходят. Вы мне предлагаете свои целые числа. Но зачем они, эти целые числа, *нецелому существу*, называемому «человек»? Люди – это дроби, выдающие себя за единицы, доращивающие себя словами. Но дробь, привставшая на цыпочки, все-таки не целое число, не единица, и все поступки дроби дробны, все события в мире нецелых не целы. Целы лишь цели нецелых, которые всегда, заметьте, остаются недостижимыми, потому что ваша теория вероятностей, бормочущая что-то о совпадении ожидаемого события с событием происшедшим, непригодна для нашего мира невероятностей, где ожидаемое никогда не наступает, где клятвы об одном, а факты о другом, где жизнь обещает начаться в вечном завтра. Математики, обозначающие осуществление



через р, а неосуществление через q, разбираются в своих же знаках хуже глупой кукушки, всем и всегда предсказывающей одно лишь: q – q.

Престарелый математик, не отводя раструба от слов, давно уже сопел носом и гневно щелкал вставными челюстями.

– Но позвольте, мистер, вместе с нашими цифрами вы вышвыриваете и мир. Ни больше, ни меньше. Ваша... э-э... метафизика, получи она распространение, превратилась бы в интеллектуальное бедствие. Вы зачеркиваете все цифры, кроме нуля. А я говорю: больше лояльности по отношению к бытию. Всякий джентльмен обязан признать действительность действительной, иначе он... ну, не знаю, как сказать... ведь эти стены, улицы, Лондон, земля, мир – не пепел, который я вот стряхиваю ударом пальца с сигары: это гораздо серьезнее, и я удивляюсь, сэр...

– Я тоже удивляюсь, как вы можете обвинять меня в неуважении к вашим домам и стенам: ведь только врожденная учтивость заставляет меня ходить не сквозь них, а мимо, хотя все ваши улицы для меня дороги в поле, а дворцы и храмы – трава, по которой я мог бы прошагать напрямик, если бы не уважал запрета, лондонезировавшего мир: «Традиций не рвать, идей не водить, святынь не топтать». И скажите мне, милейший мистер Доули, какой смысл безногим приторговывать у меня мои семимильные сапоги. Гораздо проще и дешевле, не двигаясь ни шагу с места, рассуждать о шагах.

На минуту беседу расклинило молчанием, потом старый профессор сказал:

– Все это не лишено занимательности. Но и только. Стены стоят, где стояли, факты – тоже. И даже пепел с моей сигары не исчез, а лежит вон тут – в пепельнице. И вы нарочно, добрейший мистер Мюнхгаузен, все время оперируете широкими схемами, чтобы избежать узких и тесных, скажем так, фактов, в которые вашу теорию невероятностей никак не вдеть: для ног ихтиозавра башмачки Сандрильоны, хе-хе, согласитесь, тесноваты. Вашу теорию невероятностей, вы меня извините, строят метафоры, наша же теория вероятностей – результат обработки конкретнейшего материала. Приведите мне хоть один живой пример, и я готов буду...

– Извольте, из вашей же работы, мистер Доули. Вы пишете: «Если из ящика, в котором находятся черные и белые шары, вынуть один из них, то можно с некоторой долей вероятности предсказать, что он будет, скажем, белым, и с полной достоверностью, что он не будет красным». Но ведь мы с вами, мистер Доули, разве мы не наткнулись своими жизнями на казус, когда в ящике были лишь черные и белые, а рука истории – ко всеобщему конфузу – вытащила... красное.

– Опять метафоры, – вскинулся профессор, – но мы с вами заговорились, а время аудиенции близится. Боюсь, вы не успеете дать мне ни одного конкретного примера, ни одной невероятности, ограничившись чистой теорией таковых.

– Как знать, – привстал Мюнхгаузен вслед за расправляв-

шим тугие колени гостем. Снизу, сквозь толщу стены, слышался шум поданной к крыльцу машины. Снизу же по лестнице близились шаги слуги, идущего докладывать о том, что время ехать.

– Как знать, – повторил Мюнхгаузен, вщуриваясь веселыми глазами в собеседника, – скажите, какой поступок со стороны человека, которому через двадцать минут предстоит аудиенция у короля, согласились бы вы назвать наиболее невероятным?

– Если б этот человек... – начал было Уилки Доули, но на пороге появился слуга.

– Хорошо, скажите Джонни – я сейчас. Ступайте. Я весь внимание, мистер Доули. Вы сказали: если бы этот человек...

– Ну да... если б этот человек (вы говорите, конечно, о себе, мистер) в час, скажем точнее – в минуту, назначенную для встречи с королем, повернулся бы к королю... спиной...

– Мистер Доули, – наклонился Мюнхгаузен к самому раструбу трубки, – вы даете слово джентльмена никому не говорить о той вещице, которую я вынул сейчас из жилетного кармана?

– Можете быть спокойны. Ни одна душа.

Лунный камень на пальце барона нырнул внутрь жилетного кармана и тот час же выблеснулся назад: меж указательным и большим, пододвигаясь к испуганным глазам Доули, желтел картон железнодорожного билета.

– Прошу проверить знаки: поезд в четыре девятнадцать, аудиенция в четыре двадцать. Кстати, вы лучше знаете Лондон, скажите: можно ли войти на платформу Черинг-Кросса, не повернувшись спиной к Букингэмскому дворцу?

– Но ведь это же не...

– Невероятно, хотите вы сказать? О, distinguished мистер Доули, для осуществления еще одного плана необходима еще одна невероятность, на которую я твердо рассчитываю. Пододвиньте трубку – вот так. И заключается эта невероятность в том, что человек, давший слово, сдержит его. Не правда ли, сэр?

Такова была третья странность барона Мюнхгаузена: удалось увернуться из-под удара тяжелой лапы британского льва. От Лондона до Дувра всего ведь два часа пути. Притом человеку, проскользнувшему меж пяти лучей, трудно ли разминуться с пятью когтями?

# Глава VII

## Баденвердерский затворник

В четыре двадцать две король сморщил брови. В четыре двадцать три придворный церемониймейстер бросился к телефону, вызванивая Бейсвотер-род: из коттеджа сумасшедших бобов отвечали, что барон выехал. Церемониймейстер распорядился передвинуть стрелки часов на пять минут вспять и велел раскрыть двери из внутренних апартаментов в аудиенц-зал. В четыре двадцать пять по стенам дворца зашуршало слово «шокинг». В четыре тридцать король гневно дернул плечом, повернулся на каблуках, а церемониймейстер, поймав взгляд монарха, заявил придворным чинам, что аудиенция отменяется.

Но было уже поздно: короля заставили ждать! Если аккуратность – вежливость королей, то аккуратность по отношению к королям – священный долг. Десять веков истории ниспровергались десятью минутами: король ждал. Даже палачи, отрубавшие головы английским королям, не смели запоздать ни на секунду, и меч ударял вместе с ударом колокола на старых часах Тауэра, и вдруг... какой-то заезжий болтун. Немецкий агент, тершийся среди московских большевиков... Десять веков грузно ворочались, подымая могильные камни для удара, но десять минут, свесив ноги с часовой

стрелки, весело отстукивали: дал – ждал – ждал.

Версия о похищении Мюнхгаузена на пути от коттеджа к дворцу шайкой коммунистов продержалась всего лишь несколько часов. Шофер Джонни показал, что он сам отвез барона на вокзал к поезду четыре девятнадцать. В доме барона был произведен обыск, но ничего подозрительного, кроме туфли с левой ноги, разлученной со своей парой, обнаружено не было. Маститый Уилки Доули, имевший разговор с бароном за полчаса до оскорбления величества (показание прислуги), был тоже подвергнут допросу, причем вел себя как сообщник: на вопросы – знал или не знал – неизменно следовало: «Я дал слово ни слова более», – и, теория невероятностей, как бы торжествуя победу, посадила ни в чем не повинного ученого в тюрьму, где он вскоре и умер не то от старости, не то от огорчения.

Работы по возведению памятника барону Иеронимусу фон Мюнхгаузену, разумеется, были тотчас же прекращены, и посреди одной из широких лондонских площадей, окруженной кружением колес и криками автомобильных сирен, долго еще высился пустой пьедестал, напоминая кое-кому из памятливых людей рассказ Мюнхгаузена о его последнем московском дне.

Британская пресса реагировала энергично, но без многословий вслед спине, показавшей свои лопатки королю, из всей стаи литературных лоханей плеснуло помоями, после чего лохани подставили себя под новые злобы новых дней.

Джим Чильчер успел купить новые штиблеты, но и только: карьера его была безнадежно проиграна, и Ньютоновы коровы пожрали, вместе с алгебраической травой, все цветы его надежд.

Тем временем барон Мюнхгаузен, добравшись до континента, кружил по сплетениям железнодорожных нитей, как паук, которому порвали паутину. Шуцман, стоявший ночную смену на углу Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден, видел автомобиль барона, промчавшийся по направлению к Александер-платцу. Но к полудню, когда весть о внезапном приезде барона разнеслась по городу, портье из дома на Александер-платце на все звонки отвечал:

– Был и выбыл.

Чиновником, дежурившим в министерстве, в то же утро был получен пакет, адресованный знакомым ему мюнхгаузенским почерком. Чиновник передал пакет своему шефу. Чиновник был не из болтливых, но все же не мог удержаться, чтобы не сообщить двум-трем о странной приписке в правом углу конверта: «Адрес отправителя: г. Всюду, тридевятый дом на Тридесятой улице».

День спустя кто-то из берлинских знакомых барона, возвращаясь из Ганновера в столицу, на одной из промежуточных станций увидел, как ему показалось, лицо Мюнхгаузена в окне встречного поезда, дожидавшегося сигнала к отправлению. Берлинец поднял котелок, но вагонные окна поплыли мимо окон вагона, и котелок, не получая ответа, недоумен-

ным зигзагом вернулся и притиснул виски.

Прошло несколько месяцев. Поля подстриглись ежиком. Летнюю пыль прибило дождями к земле. Давно ли журавлиные косяки кривыми бумерангами прорезали небо с юга на север, чтобы теперь – замыкая круг – падать назад в юг. Имя безвестно исчезнувшего Мюнхгаузена вначале шумело, потом под модератор, а там и смолкло. Слава как звук, брошенный в горы: череда эх, раздвинувшиеся паузы, последний дальний и смутный отголосок – и снова каменная тишина, подставляющая гигантские уши ущелий под новый звук. Мюнхгаузенские поклонники и почитатели продолжали почитать и поклоняться кому-то другому. Друзья... но разве великому стагириту<sup>16</sup> не сказалось как-то: «Друзья мои, а ведь нет дружбы на свете!» Примечательно, что жаловаться на это обстоятельство пришлось все-таки... друзьям. Психологическая антиномия эта выдвигается здесь лишь затем, чтобы читатель не удивлялся, когда ему скажут, что в одно из осенних утр поэт Эрнст Ундинг получил письмо, подписанное: «Мюнхгаузен».

Пальцы Ундинга слегка дрожали, когда он перечитывал скупые строки, принесенные ему узким и глухим конвертом. Барон просил не отказать ему «в последней встрече с последним человеком». Следовал адрес, который предлагалось, запомнив, уничтожить.

Ундинг мог бы отнестись с недоверием к словам из узкого

---

<sup>16</sup> *Стагирит* – уроженец г. Статры (в Македонии); здесь: Аристотель.



конверта: он хорошо еще помнил пустой перрон и поезда, проходящие мимо. Но случилось так, что, пересчитав свои марки, заработанные у фирмы «Веритас», вечером того же дня он выехал по линии Берлин – Ганновер.

Выполняя волю письма, Ундинг, беспокожно проворочавшийся всю ночь на жесткой скамье вагона, сошел, не доезжая двух-трех станций до Ганновера. Деревенька, примыкающая к железнодорожному поселку, спала, и лишь петухи поперебой выкликали зарю. Дойдя до последнего дома, так опять-таки требовало письмо, – надо было остановиться, постучать и вызвать Михеля Гейнца. На стук высунулась чья-то голова и, услышав имя, не спрашивая о дальнейшем, сказала:

– Хорошо. Сейчас.

Затем за оградой двора звук копыт и колес, минутой спустя скрип открывающихся ворот, – и деревенский возок, выкатив на улицу, подставил свою железную подножку приезжему.

В это время линия зари прочертилась на горизонте. Михель толкнул лошадей; разбрызгивая лужи, колеса двинулись по перпендикуляру к заре. Ундинг, сунув руку в боковой карман, нащупал – рядом с колючими углами конверта – вдвое сложенную тетрадь. Он улыбнулся смущенно, но гордо, как улыбаются поэты, когда их просят прочесть стихи. Дорога тянулась среди оголенных полей. Потом перекатилась через холм; подымающееся солнце било в глаза: отвернувшись влево, Ундинг увидел шеренгу четвероруких мель-

ниц, гостеприимно машущих навстречу экипажу, но Михель дернул правую вожжу и экипаж, повернувшись к мельницам задними колесами, покатил по боковой дороге, направляясь к сине-серому сверканию пруда. Загрохотал под ободами мост, убегая от копыт, закрякали утки, расположившиеся было поперек дороги, и Михель, протянув длинный бич к черепице двух-трех кровель, желтевших из двойного охвата деревьев и каменной изгороди, сказал:

– Баденвердер.

Широко раскрытые ворота дожидались гостя. Навстречу, по аллее парка, припадая на палку и волоча ногу, шел старый, сгорбленный дворецкий. Низко поклонившись, он пригласил гостя войти в дом:

– Барон нездоров. Он дожидается вас в библиотеке.

Преодолевая нетерпение, Ундинг с трудом тормозил мускулы, принаровляя свой шаг к медленному ковылянию старика. Они прошли под фантастическим сплетением ветвей. Деревья стояли тесно, и длинные утренние тени выстилали аллею черным ковром. Дошли до каменных ступенек, входящих в дом. Пока дворецкий искал ключи, Ундинг успел скользнуть взглядом по ветхой, кое-где растрескавшейся и осевшей стене: справа и слева от входа – из серо-желтой штукатурки, полусмытые дождями, проступали готические буквы девизов:

*Справа: Красного и белого не покупайте,*

*Ни «да», ни «нет» не говорите.*

*Слева: Тот, кто строил меня, не жив;*

*Того, кто живет во мне, ждут неживые.*

Половицы, скрипя под ногами, провели мимо причудливого леса оленьих рогов, выроставших ветвящимися горизонталями из стены. По запутанным арабескам ковров слуга и гость прошли мимо ряда почернелых портретов, скудно освещенных узкими окнами. Наконец, витая лестница быстро закружила шаги, сверху пахнуло нежной книжной тленью – и Ундинг увидел себя в длинной сумрачной зале со стрельчатым окном в глубине. Вдоль стен тесно составленные шкафы и полки; казалось, стоит убрать книжные кипы, упершись в потолок, и тот, лишенный опоры, поползет вниз, плюща по пути рабочий стол, кресла и того, кто в них.

Но сейчас кресла были пусты: Мюнхгаузен, присев на корточки, раскладывал по полу какие-то белые квадратики. Погруженный в свою работу, с полами старого шлафрока, расплзшимися по ковру, он не слышал шагов Ундинга. Тот приблизился:

– Что вы делаете, дорогой барон?

Мюнхгаузен быстро поднялся, стряхивая с колен квадратики; руки встретились в крепком и длинном пожатии.

– Ну вот, наконец-то. Вы спрашиваете, что я делаю? Прощаюсь с алфавитом. Пора.

Только теперь Ундинг рассмотрел, что разбросанные по

узору ковра квадратики были обыкновенной складной азбукой, кусочками картона, на каждом из которых по черной букве греческого алфавита. Одна из них еще продолжала оставаться в пальцах у барона.

– Вы не находите, милый Ундинг, что Омега своим начертанием до странности напоминает пузырь, ставший на утиные лапки. Вот взгляните, – придвинул он квадрат к гостю, – а между тем, как ни печально, это единственное, что осталось мне от всего алфавита. Я оскорбил буквы, и они ушли, как уходят мыши из обезлюдевшего дома. Да-да. Любой школьник, складывая эти вот значки, может учиться сочетать с мирами миры. Но для меня знаки лишились значимости. Надо стиснуть зубы и ждать, когда вот этот осклизлый пузырь на утиных лапах, неслышно ступая, подкрадется из-за спины и...

Говоривший бросил омегу на стол и замолчал. Ундинг, не ожидавший такого вступления, с тревогой вглядывался в лицо Мюнхгаузена: небритые щеки втянуло, кадык острым треугольником прорывал линию шеи, из-под судорожного рощерка бровей смотрели провалившиеся к дну глазниц столетия; рука, охватившая колючее колено, выпадала из-под рукава шлафрока изжелтым ссохшимся листом, одетым в сеть костей – прожилок; лунный камень на указательном пальце потерял игру и потух.

С минуту длилось молчание. Потом где-то у стены прохрипела пружина. И гость и хозяин повернули головы на

звук: бронзовая кукушка, выглянув из-за циферблата, крикнула девять раз. Кадык Мюнхгаузена шевельнулся.

– Глупая птица жалеет меня. Забавно, не правда ли? К моей омеге она предлагает присоединить свое q – букву, которой математики обозначают несовпадение заданного с данным, неуспех. Но мне не нужен этот птичий подарок: я давно оставил за спиной мирок, в котором неуспех перед успехом, в страданье радость, и в самой смерти воскресение. Оставьте себе, кукушка, свое Q – ведь это твое единственное все, если не считать пружины, заменяющей тебе душу. Нет, друг мой Ундинг, циферблатному колесу, кружащему двумя своими спицами, рано или поздно ободом о камень – и крак.

– Вот-вот, – приподнялся поэт, – наши образы пересеклись и, если вы позволите...

Рука Ундинга скользнула в карман пиджака. Но глаза Мюнхгаузена равнодушно смотрели куда-то мимо, вокруг рта его шевелились брюзгливые складки. И листы тетради, хрустнув под пальцами, не покинули своего укрытия. Только теперь Ундингу стало ясно, что человеку, простившемуся с алфавитом, все эти буквы, сцепляющиеся в строфы и смыслы, тщетны и запоздалы. Ладонь гостя вернулась назад и к поручню кресла, и гость понял, что иного искусства, кроме искусства слушать, от него не требуют.

Ветер раскачивал желтой листвой, изредка тыча веткой в окно, под замолчавшей кукушкой размеренно цокал маятник. Барон поднял голову:

– Может быть, вы устали с дороги?

– Нисколько.

– А я вот устал. Хотя и не было никакой дороги, кроме топтания по треугольнику: Берлин – Лондон – Берлин – Баденвердер – Лондон – Берлин – Баденвердер. И все. Вас, может быть, удивляет исключение из маршрутов Москвы?

– Нет, не удивляет.

– Прекрасно: я знал – вы поймете меня с полуслова. Ведь как ни разнствуют наши взгляды на поэтику, мы оба не умеем не понять: нельзя повернуться лицом к своему «я», не показав спину своему «не я». И, конечно, я не был бы Мюнхгаузенем, если б задумал искать Москву... в Москве. Для людей смысл – некие данности, в которые можно войти и выйти, оставив ключ у швейцара. Я всегда знал лишь созданные, и прежде чем войти в дом, я должен его построить. Ясно, что, приняв задание «СССР», я тем самым получал моральную визу во все страны мира, кроме СССР. И я отправился в мой старый, тихий Баденвердер, вот сюда – к тишине и к книжным полкам, где я мог спокойно задумать и построить свою МССР. Выскользнув из всех глаз, я ввил себя в глухой и тесный кокон, чтобы после, когда придет мой час, прорвать его и бросить в воздух пеструю пыльцу над серой пылью земли. Но если уточнять метафору, крылья летучей мыши лучше прирастают к фантазии, чем бабочкины крылышки. Вам, конечно, известен опыт: в темную комнату, где от стены к стене нити и к каждой нити подвешено по

колокольчику, выпускают летучую мышь: сколько бы ни кружила, прорезывая тьму крыльями, птица, ни единый колокольчик не прозвенит – крыло всегда мимо нити, мудрый инстинкт подергивает спираль полета сквозь путаницу преграды, оберегая крылья от толчков о не-воздух.

И я бросил свою фантазию внутрь темного и пустого для меня четырехбуквия: СССР. Она кружила от знака к знаку, и мне казалось, что ни разу крылья ее не зацепили о реальность, фантазмы скользили мимо фактов, пока не стала выштриховываться небывалая страна, мир, вынутый из моего, Мюнхгаузенова, глаза, который был, на мой взгляд, ничем не хуже и не тусклее мира, втискивающегося своими лучами насильно извне внутрь наших глаз.

Я работал с увлечением, предвкушая эффект, когда сооружение из вымыслов, взгроможденных друг на друга, закачавшись, рухнет на лбы моих слушателей и читателей. О, как должны будут развесить рты лондонские зеваки, пялившие глаза на зеленые спирали моих бобов, когда я вовью их умы в пестрые спирали фантазмов.

Одно лишь обстоятельство путало образы и беднило композицию: теперь, как и всегда, готовясь вчekanить в чужие мозги мои фантазмагоризмы, я должен был отыскивать наклон и скат от высокого вымысла к вульгарному вранью, единственно доступному глазам в наглазниках, мутным шестнадцатисвечным мышлениям, воображению короткого радиуса. Пришлось, как всегда, притушить краски, затупить

острия, взять за основу ткани обиходные бредни привычных людям газет, оставив за собой лишь уток. Так или иначе, когда Россия была докомпонована, вот эта спиральная лестничка вернула меня людям. Результат моих выступлений вам известен.

Я снова попал в круг из вращенных в меня глаз, подставленных под каждое мое слово ушей, ладоней, протянутых за рукопожатием, милостыней или автографом. Давнишнее раздражение художника, принужденного двести лет кряду снижать форму, на этот раз как-то особенно сильно заговорило во мне. Когда же они наконец поймут, эти хлопочущие вокруг меня существа, думал я, что мое бытие – лишь простая любезность. Когда они увидят и увидят ли когда, что мои чистые вымыслы приходят в мир за изумлениями и улыбками, а не за грязью и кровью. И так всегда у вас на земле, мой Ундинг: мелкие мистификаторы все эти Макферсоны, Мериме и Чаттертоны, смешивающие вино с водой, небыль с былью, возведены в гении, а я, мастер чистого, беспримесного фантазма, ославлен, как пустой враль и пустомеля. Да-да, не возражайте, я знаю, только в детских комнатах еще верят старому дураку Мюнхгаузену. Но ведь и Христа поняли только дети. Что же вы молчите, или вы брезгуете спорить с запутавшимся в своих путаницах путаником. Вот она, горькая плата земли: за мириады слов – молчание.

Ундинг отыскал глазами глаза и тихо погладил сухие костяшки рук Мюнхгаузена: в лунном камне на выгнувшемся



крючком пальце вдруг снова заворошился тусклый и слабый блик. Мюнхгаузен перевел частое дыхание и продолжал:

– Простите старика. Желчь. Впрочем, теперь вам будет легче понять тогдашнее мое состояние раздражения и натяженности нервов. Достаточно было малейшего толчка... толчок не заставил себя ждать. Вы помните нашу берлинскую беседу, когда я, указывая на крючья моего шкафа...

– Предсказали, – подхватил Ундинг, – что рано или поздно ваши камзол, косица и шпага, лежа на парчовых подушках, отправятся в Вестминстерское аббатство.

– Вот именно. И вы можете представить себе мое изумление, когда в одно проклятое утро, распахнув окно, я увидел всю эту ветошь, – сорвавшись с крючьев на парчу, она плыла над головами толпы прямо на Вестминстер. Первый раз за двести лет я сказал правду. К щекам моим хлынула краска стыда и в ушах звенело, как если б крыло летучей мыши задело за нить колокольчиком. Ха. Фантазм ударился о факт. Шок был так неожидан и силен, что я не сразу овладел собой. Эти дураки, шумевшие за окном, разумеется, ничего не поняли. Удивляюсь, как их попы не канонизировали мою туплю, включив и ее в свой реликварий.

Весь остаток дня я провел над черновыми листами книги, посвященной СССР. Теперь уже мне казалось, что то тот, то этот абзац грешит против неправды; много строк попало под перечерк пера, но, раз заподозрив себя в правдивости, я – вы понимаете – не мог успокоиться, и в каждом слове мне чуди-

лась вкравшаяся истина. К вечеру я отодвинул искромсанную рукопись, и тяжелое раздумье овладело мной: неужели я заболел истиной, неужели эта страшная и стыдная *morbus veritatis*,<sup>17</sup> осложняющаяся или в мученичество, или в безумие, пробралась и в мой мозг? Пусть припадок был коротким и не сильным, но ведь и все эти Паскали, Бруно, Ньютоны тоже начинали с пустяков, а потом – брр... острое в хроническое, «*hipotesas non fingo*».<sup>18</sup>

После двух-трех дней колебания я понял и решился: отбросив путаницу домыслов и сомнений, сравнить портрет с оригиналом, страну, вынутую из расщепа моего пера, с доподлинной, зацепленной в своих границах страной. Покинув Лондон, я вернулся сюда, в мое уединение. В пути я задержался лишь на несколько часов в Берлине: необходимо было ликвидировать мою дипломатию и обеспечить себе покой и невмешательство. Я отослал им все их полномочия, присоединив письмо, в котором заявлял, что на первую же попытку раскрыть тайну моего местопребывания отвечу раскрытием их тайн. Теперь я мог быть спокоен: сыск не допустит меня разыскать, да и число любопытствующих, я думаю, с каждым днем падает: слава, как и Мюнхгаузенова утка, сложила крылья и никогда больше их не расправит.

Надо было аускультировать рукопись и приниматься за ее лечение. При помощи двух-трех подставных лиц я затеял пе-

---

<sup>17</sup> Болезнь правдивости (*лат.*).

<sup>18</sup> Гипотез не строю (*лат.*).

реписку с Москвой, мне удалось достать их книги и газеты, пользуясь сравнительным методом, сочетать изучение внутрирубежной России с зарубежной, пресса и литература которой у нас всех под руками. Берясь за систематическую правку рукописи, я твердо решил там, где рассказ и действительность параллельны, поступать, как музыкант, наткнувшийся при чтении партитуры на параллельные квинты.

Понемногу материал стал притекать и накапливаться: далекое *оттуда* бросало сотнями конвертов вот сюда, – Мюнхгаузен протянул палец к затененному углу библиотеки, где спинкой в книжные корешки, выгнув, будто под тяжким грузом, тонкие ножки, стоял старинный бювар, – да, сотнями конвертов и каждый из них, чуть ему разрывали рот, начал говорить такое, что... но, может быть, вы думаете, я преувеличиваю: увы, болезнь отняла у меня даже и эту радость. Взгляните сами. Вот.

Ведя за собой Ундинга, Мюнхгаузен подошел к бювару и откинул покатую крышку: под ней белела грудa вскрытых конвертов; сквозь окна марок, пестревших поверх, выглядывали маленькие человечки в красноармейских шлемах и рабочих блузах. Пальцы Мюнхгаузена, разворошив грудy, выдернули почтовый листок наудачу. За ним другой и третий. Еще и еще. Перед глазами Ундинга замелькали чернильные строки. Длинный ноготь Мюнхгаузена, прыгая с листка на листок, влек за собой внимание читавшего:

– Ну вот, хотя бы здесь: «Геноссе Мюнхгаузен, по интересующему вас вопросу о голоде в Поволжье спешу вас успокоить: сведения, данные вашей лекцией, не столько неверны, сколько неполны. Действительность, я бы позволил себе сказать, несколько превзош...» Как вам понравится? Или вот это: «Уважаемый коллега, я и не знал, что погашенный рассказ о непогашенной луне является отголоском факта, имевшего место с вами на пути от границы к Москве. Теперь для меня ясно, что автор рассказа, своевременно погашенного, мистифицировал читателей относительно источника такового, вся же правда – от слова до слова – принадлежит вам и только вам... Позвольте мне, как писатель писателю...» Какая фантастическая глупость: мне бы никогда такой и не придумать. Или вот: «...а что до пустого постамента, то такой есть. Только никакого Мюнхгаузена, позвольте доложить, на нем не стояло, а сидел – дня три или четыре – папье-машевый царь Александр, да и того веревками слезли, и где было пусто, там и теперь пусто, и будет ли что другое, того не знаем. И надпись про на-соплю была, сам видел, только теперь, как у нас строительство, закрасили. А еще ежели вам сомнительно...» – ну и так далее. Лучше вот это, – ноготь побежал по строкам, – прочли? И вот тут. Мог ли я думать? Нет, вы скажите, что это: я сошел с ума, или...

Ундинг еле успел отдернуть пальцы, – крышка бювара звонко захлопнулась, и задки туфель гневно зашлепали от бювара к креслу. Повернувшись, Ундинг увидел: Мюнхгау-

зен сидел, спрятав лицо в ладони. И прошла долгая пауза, прежде чем двое вернулись к словам.

– Добило меня книгами их эмигрантов. Сочиняя свою историю о московских спудах и пророке, я не знал, что найдутся люди, которые так легко перефантазируют меня и посмеются над исписавшимся выдумщиком. Я не завидую, но мне грустно, как может быть грустно старому обезлиствешему дереву, которое погибает, теснимое отовсюду буйной юной порослью.

Но давайте без лирики. Можно б было продолжать ревизию, но с меня было достаточно. Я видел: факты в основном контуре стали фантазмами, а фантазмы фактами, и тьма вокруг летучей мыши звенела тысячами колокольцев; каждый удар крыла о нить, вокруг каждого слова, каждого движения пера – изниженный звоном смеющийся воздух. Я и сейчас это слышу. И в яви, и во сне. Нет-нет. Довольно. Пусть распахнут тьму и выпустят птицу: зачем ее мучить, раз опыт сорван?!

– Вы, вероятно, досадуете на меня, вы думаете: зачем вызывал меня – сквозь сотни километров – этот ненужный ни мне, ни себе брюзга, зачем...

– Если б вы знали, как вы для меня единственны, вы бы не говорили так, учитель!

Мюнхгаузен поправил кольцо, соскользнувшее было с иссохлого пальца, и, казалось, улыбался каким-то воспоминаниям:

– Впрочем, не я – болезнь позвала вас. Мог ли я думать, что буду когда-нибудь исповедоваться, рассказывать себя, как старая шлюха в решетку конфессионале, пушу правду к себе на язык. Ведь, знаете, еще в детстве любимой моей книгой был наш немецкий сборник чудес и легенд, который средневековые приписывало некоему св. Никто. Мудрый и благодостный der heilige Niemand был первым святым, к которому я обращал свои детские молитвы. В его пестрых рассказах о несуществующем все было иное, иначе, и когда я, тогда еще десятилетний мальчуган, переиначивал его Иначе, пробовал ввести в таинственную страну несуществовавший моих товарищей по играм и школе, они называли меня врунишкой, и не раз, ратуя за святого Никто, я натыкался не только на насмешки, но и на кулаки. Однако der heilige Niemand воздал мне сторицей: отняв один мир, он дал их мне сто сот. Ведь люди так обделены миром: он дан им всего лишь в одном экземпляре на всех, бедняги ютятся все и всегда в своем одном-единственном, – а я уже в юности получил в дар многое множество вселенных – и притом на себя одного. В моих мирах время шло быстрее и пространство было пространнее. Еще Лукреций Кар спрашивал: если пращник, ставший у края мира, метнет свой камень, где упадет камень – на черте или за чертой? Я тысячу раз дал ответ, потому что моя праща – лишь за пределы существующего. Я жил в безграничном царстве фантазий, и споры философов, вырывающих друг у друга из рук истину, казались мне похожими на

драку нищих из-за брошенного им медного гроша. Несчастные и не могли иначе: если каждая вещь равна себе самой, если прошлое не может быть сделано другим, если каждый объект имеет один объективный смысл и мышление впряжено в познание, то нет никакого выхода, кроме как в истину. О, как смешны мне казались все эти ученые макушки, унификаторы и постигатели: они искали «*Εν και παν*», «единое во многом», и не находили, а я умел найти *многое в одном*. Они закрывали двери, притискивая их к порогам сознаний, – я распахивал их створами в ничто, которое и есть все; я вышел из борьбы за существование, которая имеет смысл лишь в темном и скудном мире, где не хватает бытия на всех, чтобы войти в *борьбу за несуществование*: я создал недосозданные миры, зажигал и тушил солнца, разрывал старые орбиты и вчерчивал в вселенную новые пути; я не открывал новых стран, о нет, я *изобретал* их; в сложной игре фантазмами против фактов, которая ведется на шахматнице, расквადренной линиями меридианов и долгой, я особенно любил тот означенный у шахматистов двучием миг, когда, дождавшись своего хода, снимаешь фантазмом факт, становясь несуществующим на место существующего. И всегда и неизменно фантазмы выигрывали – всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о которой *нельзя солгать*. Да-да, на равнинный квадрат меж черных и белых вод, заселенный такой неисчислимостью смыслов, примиривший в себе столько непримиримостей, разомкнувшийся в такие дали, которых

не передлиннить никаким *далее*, выдвинувший такие факты, что фантазмам остается лишь – вспять. Да, Страна, о которой нельзя солгать! Мог ли я думать, что этот гигантский красный ферзь, прорвав линию моих пешек, опрокинет всю игру: помню, как он стоял под ударами чуть ли не всех моих фигур; с победно бьющимся сердцем, я по-наискосу ферзя пешкой, и напроць; но не успела улыбка до моих губ, как я увидел, что пешка моя, непонятным образом вспучившись и развалившись, превратилась в только что сброшенного красного ферзя. Такое бывает лишь в снах: втягиваемый кошмаром, я схватился за встопыренную гриву своего коня и, проделав зигзаг, снова сшиб алого ферзя с доски; я слышал – он грохотал, падая гигантскими зубцами оземь, и из пустого места опять он, поднимающий над меридианной сетью кровавые зубцы; я рокировался и по-прямы турой; снова грохот рухнувшего и снова превращение; в бешенстве я ударил по проклятой клетке косым ходом леуфера: опять! И я увидел, мои клетки пустыют, король брошен под шах, а неистребимый красный ферзь есть, где был, на вскрытом развездье линий. Теперь настал миг, когда мне нечем ходить: все мои фантазмы проиграны. Но я и не подумаю сдаваться: в той игре и в тех масштабах, в каких мы ее ведем, если не с чего, *так с себя*. Я уже пробовал когда-то, взяв себя за темя, выдернуться из кочкастого болота. Что ж – ход самим собой: проигранному игроку больше ничего не остается, и я не слишком цепляюсь пятками за землю. Но мой цейтнот исте-



кает. Пора. Оставьте меня, друг. Если вы подлинно мне друг.

Ундинг сначала поднял тяжелеющие веки, потом себя: он искал прощальных слов и не находил их. Но нельзя же было так отслушать и уйти, как если бы и не слышал. Он обжегал глазами комнату: ряды притиснувшихся друг к другу книжных корешков, диск циферблата в бронзовой оправе, защелкнувшаяся крышка бювара, в углу не замеченная им раньше подставка для чубуков, на подставке старая, обездымевшая трубка, и тут же рядом, свесясь со спинки кресел, рукавами в землю, тот старый, сбежавший из Вестминстера камзол. Ундинг, глядя в сморщенные лопатки камзола, спросил:

– Как? Разве вы его не отослали, как это писалось в газетах, какому-то молодому ученому в Москву?

– Камзол может еще пригодиться и мне, – послышался уклончивый ответ, – а об ученом бедняке из Страны, о которой не солгать, не беспокойтесь. Ему посланы, в виде компенсации, мои черновики, если он владеет хотя бы ножницами и клеем, рукопись поможет ему выбиться на литературную дорогу.

Хозяин и гость простились. Обернувшись еще раз с порога, Ундинг видел: из-под сдвинувшейся на лоб шапочки барона выглядывала тщательно заплетенная, отрастающая длиннющими седыми нитями косица.

Скрипучая витуша снова закружила медленные шаги уходящего.

## Глава VIII

# Истина, уклонившаяся от человека

Михель Гейнц оттянул вожжи, и колеса стали. Подножка, потом обитые ступеньки станционного домика. Ундинг поднял глаза к вправленному в стену циферблату и подумал: «Надо поправить метафору в циферблатном колесе, – как спицы ни кружи, обод всегда недвижим». И тотчас же сквозь мозг длинная череда образов. Встречи с Мюнхгаузеном (это испытывал на себе не только Ундинг) всегда частили и четчили пульс идей и давали полный – до отказа – завод фантазии. И под мерный стук и качание вагона карандаш Ундинга не отпускал пальцев, мчался по синей линейке, намечая контур новой поэмы. Поезд уже подъезжал к Берлину, когда было отыскано и заглавие: «Речь к спинкам стульев». Бывают и на корабле слов катастрофические миги, когда душа свистит «всех наверх», и отовсюду – с укачивающих коек, из-за закрытых дверей и даже из темного трюма – слышавшие сигнал слова торопятся на поверхность бумажных страниц, то поднимающихся, то падающих, как палуба в бурю: поглощенный работой, Ундинг пропустил Фридрихштрассе-бангоф и, высадившись на Моабите, шел сквозь город, не слыша из-за звона своих стрóf ни стука колес, ни гомона людей.

Только добравшись до порога комнаты с именем Эрнста

Ундинга на наружной доске двери, поэт вспомнил, кто он и где он.

Затем глубокий сон перевел стрелку часов на девять часов вперед. Свесив ноги с постели, Ундинг втолкнул их в ботинки, но зашнуровать не успел: нахлынувшее в память *вчера* овладело отдохнувшим сознанием. Перипетии поездки в Баденвердер предстали ему во всей их непоправимости. «Если я ехал помочь, – забередело в мыслях, – то почему я молчал? Разве можно помочь молчанием?» У изголовья лежала вчерашняя запись; Ундинг, скользнув глазами по карандашным каракулям, горько усмехнулся: «Ведь вот, заговорил же я со спинками стульев, но почему не с человеком». Однако слова рукописи зацепились уже за зрачки, и поэт не заметил, как недосказавшиеся строфы снова притиснули пальцы к бумаге, и воля поэмы стала его волей: опять стал виден воображаемый зал, в перспективу которого уходили бесконечные ряды деревянных существ и у каждого – и спереди и сзади – спина на четырех неподвижных выгибах ног; глядя в тесно сомкнутые шеренги, поэт бил словами по мертвым спинам, отдаваясь пафосу безнадежности; он говорил о неслышимости всех мыслей, захотевших стать словами, и об игре глухого Бетховена на клавикордах, из-под молоточков которых вывинчены струны; он восхищался благородной открытостью своих неслушателей и ставил их в образец людям, которые трусливо скрывают, что и они, откуда к ним ни подойди, лишь спины на ввинченных в землю ногах; от строфы

к строфе, разгораясь горечью и гневом, он писал... но нехорошо заглядывать через плечо лирического поэта, когда он обращается не к тебе, а к спинке своего стула.

Так или иначе, только к сумеркам, когда воздух стал под цвет графитным строкам, поэма была вчерне закончена и карандаш отпустил пальцы. Ундинг не ел весь день; набросив пальто, он вышел на вечернюю улицу и толкнул дверь ближайшей бирхалле: при помощи ножа, вилки и пары челюстей проголодавшийся лирик быстро справился с порцией сосисок; от капусты остался лишь легкий капустный запах, а шпигельайер тщетно пялил желтые глаза, умоляя о пощаде. Прогнав первый приступ голода, Ундинг протянул руку к кружке пива, пододвинул ее к себе, и вдруг пальцы его отдернулись от стеклянной ручки: на поверхности напитка, наливая на граненые края, вспучивались и лопались крохотные пузырьки пены: точь-в-точь как те, которые несколько лет тому познакомили его с Мюнхгаузеном. Теперь, когда припадок эгоизма, который историки искусства называют «вдохновение», прошел, образ оставленного друга вшагнул в самый центр сознания и стал неотступным. Ундинг в эту ночь долго ворочался на горячих подушках, пока не дождался сна. Но в сон пришло сновидение: низкий потолок, подпертый кипами книг; позади тихий птичий шаг; Ундинг оборачивается – по поверхности письменного стола, осторожно подбирая пятки, крадется пузырь на утиных лапах; Ундинг хочет бежать, но ноги у него из дерева и ввинчены в пол; надо не

позволить омеге зайти за спины, – это-то он твердо помнит, – но ведь и сзади спина, и спереди спина – отовсюду; и пузырь, растягивая одетые в бег бликов вспучины, раздувается – еще и еще – уже стол, а там и книги, потолок, вся комната и он, Ундинг, в пузыре, – утончающиеся вспучины растягиваются, еще сейчас... разрыв – и в смерть: Ундинг сжимает веки и видит себя... с раскрытыми глазами на постели. Сквозь переплет окна – рассвет.

В течение всего дня беспокойство нарастало. Брал ли Ундинг в руки газету, вписывал ли в блокнот очередные распоряжения заведующего конторой «Веритас», сквозь всю суету ему виделся человек с лицом, запрятым в пергаментные ладони; свесившаяся с макушки косица, медленно длиннясь, казалось, угрожала чем-то непоправимым. И снова в числе пассажиров вечернего поезда Берлин – Ганновер был Эрнст Ундинг.

Михель Гейнц, разбуженный стуком и голосом, опять, как несколько дней тому, выкатил на своем деревенском возке; Ундинг ногой о подножку, и колеса завертелись в сторону Баденвердера. На этот раз было чуть холоднее, и, глядя на медленно располыхивающуюся зарю, Ундинг слышал, как под ударами копыт то и дело лопалась и хрустела льдистая перепонка луж. Когда из утреннего тумана замаячили навстречу колесному стуку брошенные в небо ладони ветряных мельниц, мозг задело внезапной мыслью: «А что, если все, рассказанное бароном в последний раз, мистификация,

самая причудливая и ловкая из всех мюнхгаузиад?!» Ундинг представил себе смеющееся лицо баденвердерского отшельника, довольного, что ему удалось поймать на озорство, заставить поверить в невероятное. Ундинг уже не чувствовал холода, сердце его стучало быстрее, но колеса все так же медленно. В нетерпении он нагнулся к вознице:

– Нельзя ли разбудить лошадей, герр Гейнц?

Михель вытянул бич, и экипаж свернул на боковую дорогу. Вспугнутая стая уток с отчаянным криканьем шархнула из-под зачистивших копыт; под колесами что-то хрястнуло: Ундинг оглянулся – одна из уток, очевидно, не успела: впластав в землю крылья, она вытянула поперек пути обездвиженную ободом шею. Взяв разгон, возок Гейнца весело перекатил через холм и грохотал уже о бревна моста, когда Ундинг вскрикнул: «Стойте!»

В растуманившемся утре на берегу озера виднелась группа людей, наблюдавшая за ходом лодки, медленно плывшей вдоль озера: в лодке сидело четверо, в руках у них были багры; то ныряя, то выныривая, багры ощупывали дно. Среди столпившихся Ундинг различил сутулую фигуру старика-дворецкого; тот, обернувшись на шум колес, очевидно, тоже узнал гостя и торопливо, поскольку позволяла старость, направился к мосту. Не в силах дожидаться, Ундинг выпрыгнул из экипажа и поспешил навстречу дворецкому:

– Случилось недоброе? Говорите.

Старик понурил голову:

– Вот уж второй день, как господин барон исчез неизвестно куда. Я поднял на ноги всех слуг. Мы обыскали дом, парк, лес, теперь обыскиваем дно. Нигде.

С минуту Эрнст Ундинг молчал. Потом:

– Прекратите поиски. Это ни к чему. Едем.

В голосе гостя звучала уверенность. Старик повиновался, тем более что, оставаясь в течение двух дней без хозяина, он чувствовал потребность хоть в чьих-либо приказаниях. Лодка причалила к берегу, багры легли на землю, а экипаж двинулся к дому. По дороге Ундинг успел узнать подробности:

– После того как вы уехали, – докладывал дворецкий, – все шло как обычно. Хотя нет: барон отказался от обеда и просил не беспокоить его без надобности. В шесть, как всегда, я поднялся в кабинет. В этот час барон имеет обыкновение выпивать рюмку кюммеля. Я поставил поднос на стол, барон, как всегда, сидел в кресле с книгой в руках – я хотел спросить, не подогреть ли обед, но мне был дан знак уйти...

– Я вас перебыю: вы не помните, какая книга была в тот вечер в руках у барона?

– Переплет красный; кажется, из сафьяна; с золотым обрезаем. Она и сейчас лежит на столе, как ее оставил барон. Дело в том...

– Благодарю вас. Дальше.

– Спустившись вниз, я не отходил никуда, думая, что барон, вероятно, болен и может каждую минуту позвать. В доме у нас так тихо, что я ясно слышал шаги в библиотеке. По-

том они прекратились. Я позвал Фрица (мой внук), велел ему стать у лестницы и не отходить ни на шаг, слушая, не позовет ли барон. Сам я отправился по хозяйству, одно-другое, – когда я вернулся, была уже ночь. «Выходил барон?» – спрашиваю Фрица. «Нет». – «Звал?» – «Нет». Что такое?! У Фрица слипались глаза – я отпустил его и, придвинув скамейку к ступенькам, что наверх, сел и стал слушать. Шагов не было. Уж не болен ли? Сверху ни шороха. Так час и еще час. Потом незадолго до полуночи вдруг – оттуда, сверху, – будто тронули колокольчик: язычком о край, и стихло. Может быть, почудилось, думаю, а может, и нет. Подымаюсь к двери в библиотеку. Постучал, жду, ничего. Приоткрыл и спрашиваю: «Господин барон, изволили звать?» Не отвечает. Тут уж я решился и вошел – вижу: в комнате никого; кресла пусты; на краю стола закрытая книга – та самая, в сафьяне; пустая рюмка упала и закатилась под стол, и только край скатерти чуть качается, как если б ее только что задела коленом. Подхожу к окну: закрыто. Пресвятая Дева, что же это?! Посмотрел по полкам: книги и книги. Может быть, барон спрятался: но где? Да и стары мы, не дети, и он, и я, чтоб играть в прятки. Позвал Фрица: обыскали все. Потом сторожу: «Не выходил?» – «Нет». Пошли с факелами по саду. Ну и началось – два дня бьемся. Скажите, сударь, возможная ли это вещь, чтоб человек, не выходя из комнаты, вышел из нее, а?

Но в это время возок остановился у ворот усадьбы, что избавило Ундинга от необходимости отвечать. Спрыгнув на



землю, он направился к дому, не дожидаясь шагов дворецкого. Фриц, взъерошенный и сонный, открыл ему дверь, и Ундинг, миновав череду оквадраенных в тусклое золото портретов, – по спирали лестницы, входящей в библиотеку. Удар ладонью о дверь, и поэт, держа шляпу в руке, переступил порог. Все так, как тогда. Впрочем, нет: часы, которые, очевидно, забыли завести, молчали; а спинка кресла, с которой прошлый раз свешивал пустые руки старый камзол барона, – пуста. Сафьяновый том? Да, слуга описал точно: у края стола, на расстоянии протянутой руки от кресла. Ундинг подошел и притронулся к кожаному наугольнику алого сафьянового переплета. Да. Та самая. Волнение остановило было на минуту пальцы, но нельзя было медлить – внизу хлопнула дверь и слышались близящиеся шаги. Ундинг потянул за наугольник, откинул переплет: страницы – третья – дальше – тридцать девятая – еще дальше – шестьдесят пятая, шестьдесят седьмая – сейчас. Пальцы, чуть дрогнув, перевернули лист: пустой квадрат в черной типографской кайме был не *пуст*: барон Мюнхгаузен, ссутулив плечи, стоял посреди.

На нем был все тот же традиционный камзол и косица, свесившаяся меж лопаток. Правда, у правого бедра не было, как в издании 1783 года, шпаги, а волосы заметно побелели. Но посторонний наблюдатель, видевший другие экземпляры издания, сказал бы: «Стирается краска от времени и блекнет». Во всяком случае, во всем мире не нашлось бы другого такого чудака, который подумал бы то, что подумал поэт

Эрнст Ундинг: «Так вот он последний ход – *самим собой*». И почувствовал бы: где-то в ресницах запуталась едкая капля. Еще этого недоставало. Поэт гневно сдвинул брови и протянул руку к карандашу: но слова эпитафии не приходили. С минуту он сидел локтями в поручни кресла, вглядываясь в смутный и умаленный контур друга, возвратившегося наконец в свою старую книгу. Ему казалось – листы ее благоухают, как сама вечность.

Но шаги дворецкого, замешкавшиеся было где-то в путанице коридора, зазвучали вдруг совсем близко. Надо было торопиться. Ундинг бережно и благоговейно, касаясь пальцами кожаных науглий, опустил сафьяновую крышку переплета. Затем, с книгой в руке, он подошел к рядам выставившихся с полок корешков, отыскивая место, куда поставить сафьяновый гроб. Вот тут: отершись алой тканью о кожу и пергамент, книга стала меж чинным Адамом Смитом и «Сказками Тысячи и одной ночи». Дверь позади скрипнула. Обернувшись, Ундинг увидел дворецкого.

– Барон не вернется, – бросил он, проходя мимо, – потому что не уходил.

И старику, заковывавшему было вдогонку за более ясным ответом, не удалось нагнать ни ответ, ни Ундинга. Не прошло и пяти минут, как поэт сидел в экипаже, глядя в спину Михеля Гейнца, изредка учащавшего топот копыт свистом длинного и певучего бича. Колеса, хрустя по заморозкам, уже подкатывали к мосту, когда поэт, внезапно накло-

нившись, тронул Гейнца за плечо.

Гейнец, обернувшись с козел, увидел притиснутую к коленям седока раскрытую записную книжку. Он не выразил удивления, закурил, поправил шлею и стал ждать. А текст, сцепляясь из прыгающих серых букв, говорил:

«Здесь под сафьяновым покровом ждет суда живых, вплющенный в двумерье нарушитель мира мер *барон Иеронимус фон Мюнхгаузен*.

Человек этот как истинный боец ни разу *не уклонялся* от истины: всю жизнь он фехтовал против нее, парируя факты фантазмами, – и когда, в ответ на удары, сделал решающий выпад – свидетельствую, – сама Истина – *уклонилась* от человека. О душе его молитесь святому Никто».

Эрнст Ундинг сложил листки и сделал знак вознице: дальше. Под ободами колес снова зазвенели тонкие ледистые пленки луж.